В. ВЕРЕСАЕВ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В. В. Вересаеву принадлежит видное место среди писателей-реалистов XIX – начала XX века, чье творчество формировалось под непосредственным влиянием революционного движения. Он является одним из лучших представителей критического реализма предреволюционной эпохи.

По словам автора, «Записи для себя» – это «нечто вроде записной книжки, куда входят афоризмы, отрывки из воспоминаний, различные записи интересных эпизодов».

- Викентий Викентьевич Вересаев
  - ○
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2

Викентий Викентьевич Вересаев
Из книги «Записи для себя»

На фоне яркой весенней зелени – великолепный конь золотистой масти, с раздувающимися черными ноздрями. На нем – нагая девушка с беломраморным телом, румяная, с алыми устами. Красиво!

Маленькая перестановка. На фоне яркой весенней зелени – нагой конь с беломраморным телом, румяный, с раздувающимися алыми ноздрями. На нем – прекрасная девушка золотистой масти, с черными губами и с черным носом. Красиво?

* * *

На баррикаде

В октябре 1917 года, в Москве. Окоп пересекал Остоженку поперек. В окопе сидели рабочие, солдаты и стреляли вниз по улице, по юнкерам. Третий день шел бой. Совершалось великое и грозное. Не страница истории переворачивалась, а кончался один ее том и начинался другой.

Стреляли. Продвигаться вперед с одними винтовками, без артиллерийской подготовки, было трудно. Но уже знали: с Ходынки идут на Хамовнический плац батареи на помощь красным. И все ждали, когда над головами завоют снаряды и начнут бить в здание штаба, где засели юнкера.

На время затихла стрельба. Перед окопом озабоченно пробежала рыжая собачонка с черными ушами, остановилась у тумбы, обнюхала и побежала дальше. Вдруг быстро подняла голову и жадно стала во что-то вслушиваться. И невольно все тоже насторожились: не начинает ли артиллерия обстрел?

Но нет. Совсем не это интересовало собачонку. Было что-то гораздо важнее и интереснее: за углом, в Мансуровском переулке, завизжала собака, и рыжая собачонка с серьезными, обеспокоенными глазами вслушивалась в визг. Это было для нее самое многозначительнее среди свиста пуль и треска пулеметов, среди гула разрушавшихся устоев старой человеческой жизни.

* * *

И из всего – самое потрясающее, почти невозможно вообразить, и что, однако, совершенно бесспорно. Год, неделя, час, секунда… Только мы, с нашим сознанием, воспринимаем их как данные отрезки времени. Чтоб нанести ответный удар врагу, человеку потребно несколько секунд. Спать человек должен каждый день. Но при соответствующих внешних условиях возможны существа, которым для нанесения удара врагу требуется наша неделя, и другие существа, которые должны спать каждую нашу секунду. Вся наша многовековая история может вместиться в одно моргание глаза какого-нибудь существа. И во время одного нашего вздоха протекло многомиллионнолетнее существование какого-нибудь микроскопического мира, – микроскопического для нас, а по существу – такого же огромного, как наш: перед вечностью миллион лет и секунда равны.

* * *

Передо мною большими шагами расхаживал известный художественный критик, высокий человек со студенчески длинными волосами, рукою откидывал волосы с красивого лба и говорил:

– Вот перед окнами вашего кабинета – церковка. Зашел к вам художник, увидел ее. «Какая замечательная церковь! Подлинно русская церковь! Как чувствуется в ней глубокое смирение русского народа, его просветленно-христианская примиренность с горькою своею судьбою!

Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!..
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя…

Это нужно зарисовать». Вы смотрите на его картину: верно! Как на ладони вся христианская душа долготерпеливого русского народа. Зашел потом другой художник. «Какая характерная церковь! Как тут отражено глубочайшее, в сущности, равнодушие русского народа ко всем небесным делам! В готике, – какой там могучий порыв к небу, все устремление – высоко вверх, к богу! А посмотрите на эти купола: широкие, как репа, основания и то-оненькие хвостики к небу. Там, дескать нам делать нечего. Тут нужно устраивать жизнь, на земле!.. Это нужно зарисовать!»

Зарисовал, и вы видите: действительно, жизнь следует устраивать на земле.

Третий художник пришел. «Какое великолепие! Посмотрите на эти фиолетовые тона, как они играют на золоте куполов!.. Нет, это нужно зарисовать!»

Вам тогда приходит мысль: по-видимому, правда, церковка моя замечательная. Нужно сфотографировать. Сфотографировали. И – ничего! Ни христианского долготерпения, ни пренебрежения к небу, ни красивой игры фиолетовых тонов. Все это от себя внесли художники, каждый из них заставил нас взглянуть на явление его глазами.

* * *

У художника

Скульптор Х. пригласил меня бывать на его субботних журфиксах. Пришел. Большая мастерская, по стенам гипсовые маски, старинное оружие; намеренно слабое освещение затененных лампочек, две развесистых пальмы, в сумраке остро вспыхивают бриллианты в серьгах и кольцах женщин. Хозяин познакомил меня со своей женой. Обыкновенное, средней миловидности лицо, не привлекающее внимания.

Сидели. Говорили о Родэне. Жена скульптора участвовала в разговоре и разливала чай. В углу около меня белела мраморная головка. Я залюбовался ею. Тонкие черты лица, какое-то глубокое душевное изящество. И ненарушимо целомудренная чистота губ. Светло и чисто становится в душе, когда видишь такие лица. Но как же редко приходится видеть их в жизни!

Ко мне подошел художественный критик.

– Правда, замечательный бюст! Наталья Александровна, как живая.

– Какая Наталья Александровна?

– Тише! Хозяйка дома, разве вы не знаете? Вон, чай разливает.

Я взглянул и с изумлением увидел: да! Мраморный бюст в углу – это она! Как же я этого раньше сам не заметил? То же душевное благородство в тонких чертах лица, та же трогательная целомудренность – не девушки, а замужней женщины, особенно трогательная и ценная.

Она продолжала разговаривать, угощала гостей чаем. Мне уже не хотелось смотреть на мраморный бюст в углу, – он свое дело сделав, раскрыл мне глаза на живое. Я не сводил глаз с

хозяйки и недоумевал: как же это я раньше не заметил того, что так победно и убедительно било мне теперь в глаза?

* * *

Как будто совсем одно и то же, – и как оно может быть совсем различным, совсем друг на друга непохожим! «Леда в объятиях Юпитера» Микеланджело или «Ио в объятиях Юпитера» Корреджио – какая высокая, какая чистая красота! А изображается акт совокупления! А в той же берлинской Национальной галерее картина того же Корреджио «Леда и Юпитер» – чистейшая порнография. В числе других снимков я купил и снимок с этой картины – и очень быстро уничтожил: противно было смотреть на эту гадость.

Или вот: сколько есть сладострастных, а то и совсем порнографических стихотворных описаний того же акта. Нельзя даже себе представить, – как иначе можно это описать? А вот прочтите следующее стихотворение Пушкина:

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих объятиях змеей,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий,

О, как милее ты, смиренница моя,
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склонясь на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна, без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему,
И разгораешься потом всё боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле.

В сущности, подробнейшее чисто физиологическое описание двух половых актов, – с страстной женщиной и с женщиной холодной. Какая целомудренная красота и какая чистота! Когда С. Т. Аксаков прослушал это стихотворение, он побледнел от восторга и воскликнул:

– Боже! *Как* он об *этом* рассказал!

* * *

Писатель – это человек, специальность которого – писать. Есть изумительные мастера этого дела.

Художник – человек, «специальность» которого – глубоко и своеобразно переживать впечатления жизни и, как необходимое из этого следствие, – воплощать их в искусстве.

* * *

Не люблю римскую литературу. Горячо, до восторга люблю литературу эллинскую. Потому что не люблю писательства и люблю художество. Все римские поэты – писатели, изумительнейшие мастера слова. Это все время замечаешь и изумляешься, – как хорошо сделано! А у эллинов, – пусть и у них мастерство изумительное, – у них этого мастерства не замечаешь, дело совсем не в нем, а в том внутреннем горении, которым они полны.

Новейшие литературы – русская и французская. У нас – художество, у французов – писательство. И какое писательство! Куда нам до них! И все-таки можно только гордиться, что у нас его нет.

Впрочем, есть исключения и у нас и у них. Полоса нашего старшего модерна: Мережковский, Вячеслав Иванов, Брюсов – типичнейшие писатели. У французов же чудеснейшие художники: Бодлер, Верлен. Я бы сказал еще с особенной охотой: и Мопассан. Но и у него – какие провалы в болото писательства! Рассказ, как кормящая женщина в вагоне тоскует, что ей распирает грудь молоком. И будто бы не знает, как легко можно у себя отдоить молоко. И вот рабочий предлагает ей свои услуги, отсасывает молоко, и когда она благодарит его, он отвечает, что это он должен ее благодарить, что он уже два дня не ел.

Какая литературщина!

* * *

Каким неотесанным самоучкой кажется Гомер рядом с Вергилием! Как корявы порою его стихи, как неубедительны ритмы, как примитивны аллитерации, как ненужны проскакивающие иногда банальнейшие рифмы! То ли дело Вергилий: точный, сжатый стих, богатейшая звукопись, ритмы, точно соответствующие содержанию, изумительные

аллитерации…

И все-таки – просто смешно ставить их рядом. Великан Гомер и рядом, по колено ему, – Вергилий. Когда я читаю Гомера, вокруг меня начинает волноваться сверкающая стихия жизни, я чувствую молодую бодрость в каждом мускуле, я не боюсь никаких ужасов и бед жизни, передо мною в чудесной красоте встают «легко-живущие» боги, – символы окружающих нас сил.

И я чувствую, что Гомер поет, потому что не может не петь, потому что горит душа и пламенными языками рвется наружу. Лев Толстой писал про него Фету: «этот черт и поет и орет во всю грудь, и никогда ему в голову не приходило, что кто-нибудь его будет слушать».

Когда читаю «Энеиду» Вергилия, чувствую перед собою с огромным мастерством рассказанную сказочку о приключениях выдуманных героев, о действиях богов, в которых ни сам Вергилий не верит, ни мы с вами. То же и с «Освобожденным Иерусалимом» Торквато Тассо. Даже смешно и как-то неловко в душе: на что тратят люди время, – на сказочки! А у Гомера просто забываешь, что рассказывает он сказки, настолько важно в нем совсем не это, а то, чего я следа нет ни у Вергилия, ни у Тассо.

* * *

Очень труден вот какой вопрос, и я над ним много ломаю голову.

Есть писатели беспринципные, подделывающиеся под текущие требования, – эти способны обмануть только очень наивных читателей. Есть писатели великого горения и великой искренности; они пишут, по избитому выражению Берне, «кровью своих жил и соком своих нервов»: Глеб Успенский, Гаршин, Короленко.

Но вот еще большой разряд писателей…

…Два различных плана, – план жизненный и план творческий, – они глубоко присущи очень многим художникам. Пушкин до конца жизни изумлял знавших его большим цинизмом в отношении к женщинам, – а в творчестве своем давно уже дошел до чистейшего целомудрия, какое редко можно встретить у какого-нибудь другого художника. Это, конечно, не притворство было и не подделка, – на высотах творчества для него органически противны были всякое любострастие и цинизм…

* * *

Лет десять назад я выпустил книгу о творчестве Пушкина под заглавием «В двух планах». Там, в сущности, я доказывал то самое, что сам Пушкин говорит о себе: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен… Душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется…» Книга вызвала дружные нападки. Критики считали нужным «заступиться» за Пушкина, доказывали, что в своих произведениях он был «вполне искренен» и т. п. Все это било совершенно мимо существа вопроса и нисколько не помогало разъяснению дела. А вопрос важный, трудный и до сих пор до странности мало разработанный.

В десятых годах в Москву приезжала знаменитая американская танцовщица Айседора Дункан. Один офицер, похабник и циник, побывал на ее вечере, где она танцевала седьмую симфонию Бетховена и «Музыкальное мгновение» Шуберта. После вечера он с недоумением сказал:

– Ваши Бетховены и Шуберты меня нисколько не интересуют, любая оперетка гораздо интереснее. Я пошел на вечер только потому, что Дункан, мне говорили, танцует почти совсем голая. И знаете, вот странно: я не заметил, голая она танцует или не голая!

Танцы Айседоры Дункан были изумительно чисты и целомудренны. Танцевала она в одной кисее, но нагота ее прекрасного тела тоже вызывала совершенно чистое чувство.

Тем неожиданнее впечатление от ее посмертной книги «Моя жизнь». С неслыханно-смелой откровенностью, нигде, впрочем, не переходящею в цинизм, она рассказывает о своих бесчисленных любовных связях с мужчинами самого разнообразного сорта. Запоминается молодой человек, сопровождавший Айседору в ее путешествиях, – возивший с собою шестнадцать чемоданов, и из них один – весь набитый гастухами. Запоминается, как она тщетно старалась обольстить Станиславского. Видимо, натура была очень чувственная и страстная. Великолепны могли бы быть у нее и соответственные танцы – какой-нибудь вакханки или одалиски.

Но откуда шло это божественное целомудрие и чистота ее танцев?

* * *

Художество делает самое малое большим. Как будто заглянешь в маленькое окошечко – и вдруг раскинутся перед

глазами широчайшие дали, и сердце дрогнет от волнения.

Когда-то в журнале «Русское богатство» был помещен рассказ Л. Мельшина «Пасынки жизни». В нем описывалась бедственная жизнь почтовых чиновников. Хороший рассказ. И из него с полнейшею очевидностью вытекало заключение: да, совершенно необходимо увеличить жалованье почтовым чиновникам!

А вот «Живой труп» Льва Толстого. Вдребезги разбита жизнь хороших людей только потому, что существует нелепый закон, запрещающий развод. Что же «вытекает» из драмы? Что необходимо отменить такой закон? Нет. В окошечке распахивается широчайшая даль, и в ужас приходишь, как люди способны калечить своими нормами и схемами живую человеческую жизнь.

Картина французского художника Жоффруа «В больнице» (в Люксембургском музее в Париже). Лежит на больничной кровати девочка, а рядом на стуле, задом к зрителю, сидит пришедший проведать девочку ее отец – рабочий. Видна только его согнутая спина. Но вся труденическая жизнь его и вся угнетенность его чувствуются в этой понурой спине.

Серовский портрет Веры Мамонтовой. Сидит девушка-подросток за столом, на столе персик. Только всего. А чувствуется вся поэзия минувших «дворянских гнезд».

* * *

Истинный

Возле буфета на маленькой эстраде играл оркестр. Обыкновенный ресторанный оркестр. Две скрипки, флейта, виолончель, контрабас и пианино. Посетители громко разговаривали за столиками, смеялись, улыбающимися губами шептали на ухо женщинам признания, никто музыки не шал. А оркестр играл сладкие вальсы и задорные попурри, и от звуков его люди, не замечая этого, весело пьянели, как от вина.

Я сидел в углу за стаканом вина, задумался. И вдруг слышу, что-то радостно поет в душе, как-то стало хорошо. Откуда это? Виолончелист играл соло с аккомпанементом пианино. Сквозь ветви пальмы видна была его большая голова в куче мелко-кудрявых волос, бритое крупное лицо и пенснэ. За его спиною, на стойке буфета, розовели пучки редиски, и оранжевые раки грудою лежали на блюде. Играл он очень хорошо, и это от его музыки так светло запело у меня в душе. Мне странно стало: как же это его никто не слушает? За столиками смеялись, громко

разговаривали.

Я вглядывался в музыканта. Для кого он играет? Когда он видит, что его никто не слушает, – как можно так играть? А он повернул голову к аккомпаниатору и что-то нетерпеливо ему сказал, очевидно, что тот не так ему аккомпанирует, как нужно. Господи, да неужто ему не все равно? Ведь никто не слушает.

Кончил. И даже взгляда не бросил на публику. Даже краешком глаза не попытался проверить, не слушал ли его кто-нибудь. Снял коты с пюпитра и спокойно стал разговаривать с пианистом.

Хотелось мне хоть сочувственно кивнуть ему головою, но он на меня не смотрел.

Привет, товарищ! Ты достиг высшего, к чему должен стремиться художник. Ты сделал свое дело, донес до людей, что хотел донести. А сам спокойно отвернулся. И если бы я неожиданно захлопал, ты с недоумением взглянул бы на меня и сконфузился.

Весна 1913 г. Киев

* * *

Великим хочешь быть, – умей сжиматься.
Все мастерство – в самоограниченьи.

Это Гете сказал в одном из своих сонетов. Пушкин в изумительных размерах обладал этим мастерством, – умением «сжиматься» до крайних пределов.

Статуя Аполлона Бельведерского. Аполлон изображен в момент, когда только что выпустил стрелу в страшного дракона Пифона. В четырех коротких стихах Пушкин дает яркое и исчерпывающее описание статуи:

Лук звенит, стрела трепещет,
И, клубясь, издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!

И не нужно в стихах объяснять, что Пифон был драконом. Это и без того достаточно видно из слова «клубясь». Что можно

прибавить к этому описанию?

Дядюшка Пушкина, поэт Василий Львович Пушкин, написал такую эпиграмму:

Какой-то стихотвор, – довольно их у нас! —
Прислал две оды на Парнас.
Он в них описывал красу природы, неба,
Цвет «розожелтый» облаков,
Шум листьев, вой зверей, ночное пенье сов,
И милости просил у Феба.
Читая, Феб зевал и наконец, спросил,—
Каких лет стихотворец был,
И оды громкие давно ли сочиняет?
«Ему пятнадцать лет», – Эрата отвечает.
«Пятнадцать только лет?» – «Не более того».
– «Так розгами его!»

Вот как сжал эту эпиграмму Пушкин:

Мальчишка Фебу гимн поднес,
«Охота есть, да мало мозгу.
А сколько лет ему вопрос?» —
«Пятнадцать». – «Только-то? Эй, розгу!»

Одной маленькой черточкой, буквально двумя словами, Пушкин умеет дать тончайшую характеристику лицу или положению. Гершензон когда-то указывал на следующие стихи из «Евгения Онегина». Татьяна написала письмо Онегину.

Но день протек, и нет ответа,
Другой настал: все нет, как нет.
Бледна, как тень, с утра одета,
Татьяна ждет: когда ж ответ?

Она ждет ответного письма Онегина. Но – она «с утра одета». Этой чуть заметной черточкой Пушкин показывает, что в душе Татьяна ждет не ответного письма, а приезда самого Онегина.

Мать Татьяны собирается везти ее в Москву. Описывается сцена отъезда. Впрягают лошадей в «забвенью преданный возок».

На кляче тощей и косматой
Сидит форейтор бородатый.

Почему «бородатый»? Форейторами ездили обыкновенно совсем молодые парня, чаще даже – мальчишки. Вот почему: Ларины безвыездно сидели в деревне и далеких путешествий не предпринимали. И вот вдруг – поездка в Москву. Где уж тут обучать нового форейтора! И взяли старого, который ездил еще лет пятнадцать-двадцать назад и с тех пор успел обрасти бородой. Этим «бородатым» форейтором Пушкин отмечает домоседство семьи Лариных. (Наблюдение насчет форейтора сделано Г. Б. Орентлихером, концертмейстером Радиокомитета.)

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца».

Каким образом сети притащили мертвеца? Сам рыбак дома, другие рыбаки чужою сетью не позволили бы себе работать. Не сами же ребята могли закинуть сеть и вытащить мертвое тело! Ребята выведены маленькими. Как же сети вытащили мертвеца? Если внимательно вчитаться в стихотворение, то ответ совершенно ясен.

«Где ж мертвец?» – «Вон, тятя, э-вот!»
В самом деле, при реке,
Где разостлан мокрый невод,
Мертвый виден на песке.

На песке был разостлан для просушки невод, волны выбросили, на него мертвое тело, и у ребят получилось впечатление, что мертвец вытащен из воды этим неводом.

Очень также характерно в этом отношении и стихотворение Лермонтова к А. О. Смирновой. В первоначальном виде оно было такое:

В простосердечии невежды
Короче знать вас я желал,
Но эти сладкие надежды
Теперь я вовсе потерял.
Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу.
Но молча вы глядите строго,

И я в смущении молчу.
Стесняем робостию детской,
Нет, не впишу я ничего
В альбоме жизни вашей светской,
Ни даже имя своего.
Мое вранье так неискусно,
Что им тревожить вас грешно.
Все его было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

И вот какая великолепная бабочка вылупилась из этой корявой куколки:

Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу,
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.

Что ж делать! Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано.
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

* * *

У Пушкина в вариантах к «Графу Нулину»:

Он весь кипит как самовар…
Иль как отверстие вулкана
Или – сравнений под рукой
У нас довольно – но сравнений
Не любит мой степенный гений,
Живей без них рассказ простой…

Это действительно характерная особенность Пушкина, – он не любит образов и сравнений. От этого он как-то особенно прост, и от этого особенно загадочна покоряющая его сила. Мне иногда кажется, что образ – только суррогат настоящей поэзии, что там, где у поэта не хватает сил просто выразить свою мысль, он прибегает к образу. Такой взгляд, конечно, ересь, и оспорить его нетрудно. Тогда, между прочим, похеривается вся восточная

поэзия. Но несомненно, что образ дает особенный простор всякого рода вычурностям и кривляньям.

* * *

Зачем оригинальному художнику *стараться* быть оригинальным? Микеланджело. Душа переполнена небывалыми, никем никогда не воплощенными образами. Безбородый, голый Христос с торсом и с чудовищными мускулами Геркулеса. Богородица с трупом сына на коленях, – нежная шестнадцатилетняя девушка. Могучая мужская фигура «Ночи» с прилепленными конусами женских грудей. Одно только нужно: смелость быть самим собой.

* * *

– Epatez de bourgeois! – Ошарашивай мещанина! Как это характерно для средненького таланта и для бездарности! Провел ли бы Микеланджело хоть одну линию резцом, написал ли бы Бетховен хоть одну ноту, чтоб кого-нибудь «ошарашить»?

* * *

Я не знаю, было ли это напечатано. Я это слышал от лиц, близко знавших художника В. И. Сурикова. Его картина «Утро стрелецкой казни». Утренние сумерки. Лобное место. На телегах – привезенные на казнь стрельцы с осунувшимися от пыток лицами, с горящими восковыми свечами в руках. Солдаты-преображенцы. Царь Петр верхом распоряжается приготовлениями к казни. Смутно вырисовываются виселицы.

Когда Суриков уже кончал картину, заехал к нему в мастерскую Репин. Посмотрел.

– Вы бы хоть одного стрельца повесили!

Суриков послушался совета, повесил. И картина на три четверти… потеряла в своей жути. И Суриков убрал повешенного.

* * *

Эмиль Золя. – «Брюхо Парижа», глава 1. Витрина колбасной лавки. «Выставка была расположена на подстилке из мелко

нарезанных обрезков голубой бумаги; местами тщательно разложенные листья папоротника обращали некоторые тарелки в букеты, окруженные зеленью. Это был целый мирок вкусных вещей, жирных и таявших во рту. Сперва, в самом низу, у стекла, шел ряд банок с жареными ломтиками свинины вперемежку с банками горчицы. Повыше лежали маленькие окорока с вынутою костью, такие красивые, круглые, желтые от тертых сухарей. Затем следовали большие блюда: красные и лоснящиеся страсбургские языки в шпеке, казавшиеся кровавыми рядом с бледными сосисками и свиными ножками; черные кровяные колбасы, свернувшиеся, точно безвредные ужи; ливерные колбасы, сложенные по две, готовые лопнуть от избытка здоровья; простые колбасы, похожие на спину певчего в серебряной мантии…» И так долго еще, долго! Больше, чем! столько же! И подумать, что еще несколько десятков лет назад могли это читать вполне серьезно и не принимать за величайшее издевательство над собой!

* * *

Как легко было так писать! Взял записную книжку, стань перед витриной и пиши! Описывать наружность человека: лоб у него был белый и открытый, густые брови нависали над черными вдумчивыми глазами, нос… губы… волосы… И так дальше. Или обстановку комнаты: посреди стоял стол, покрытый розовою скатертью с разводами; вокруг стола было расставлено пять-шесть стульев… Комод в углу… В другом углу… И так дальше. А нужно-то совсем не так: закрой глаза и вдумайся, дай себе отчет: что тебе больше всего бросилось в глаза в данном лице или обстановке? И этими-то двумя-тремя чертами, – но чертами характерными, яркими, – все и опиши. И довольно.

* * *

Бунин. – 1915 г. В текущих альманахах и журналах время от времени появляются рассказы Ив. А. Бунина. И каждый из них вполне справедливо вызывает бурный восторг критики и именуется шедевром. И верно, – истинный шедевр. Но вот что странно: говорить об этих шедеврах *решительно нечего*. О любой безвкусной и далеко не шедевренной вещи Л. Андреева можно проговорить два-три часа, о «В<ойне> и м<ире>» – целый вечер, о «Фаусте» – десяток вечеров. А тут – шутка ли: «шедевр!» –

а больше сказать нечего. И обыкновенный тон критич<еского> отзыва такой:

«На первом месте, бесспорно, нужно поставить рассказ Бунина, представляющий истинный шедевр. За ним следуют…» И на следующих критик оживает, спорит, возражает…

Как будто помещена при входе в рай – икона. Каждый благоговейного крестится, – «шедевр!» – прикладывается к иконе с облегченным сердцем! и проходит дальше…

* * *

Когда вы описываете мужчину, женщину, местность, думайте всегда о ком-нибудь, а чем-нибудь реальном.

Стендаль.

Это – глубоко верное замечание. Нужно настойчиво, не уставая, искать подходящего человека – на улице, в театре, в трамвае, в железнодорожном вагоне, пока не найдешь такого, который совершенно подходит к воображаемому тобою лицу. И тогда уж прилепись к этому человеку целиком. И он даст тебе массу самых неожиданных и прелестных деталей, которые оживят задуманный тобою образ а неузнаваемости. То же и с пейзажем. Сила Льва Толстого, что он всегда делал так.

* * *

Нужно кончать описывать природу раньше, чем читатель может заметить, что автор ее описывает.

* * *

«Иван Петрович подошел к столу. Он был очень весел».

Прочитав что-нибудь подобное, всякий считает себя обязанным притвориться идиотом и спросить:

– Кто был весел? Стол?

Гомер нисколько не стесняется говорить: «он побежал», раз по смыслу понятно, о ком идет речь, хотя бы в предыдущей фразе дело шло о столбе.

* * *

У настоящего художника никогда не найдешь никакого нравоучения. «Нравоучение» у него вытекает из самого описания жизни, из подхода его к ней. Ему не нужно писать: «Как это возмутительно!» Он так опишет, что читатель возмутится как будто сам, помимо автора. А равнодушный халтурщик – для него совершенно необходим в конце «закрученный хвостик нравоучения». Иначе читатель воспримет все как раз даже наоборот. Как в известном рассказе Чехова «Бея заглавия». Воротился настоятель в свой монастырь из большого города и с ужасом стал рассказывать о нечестии и разврате, царящих в городе.

Опьяненные вином, они пели пески и смело говорили страшные, отвратительные слова, которых не решится сказать человек, боящийся бога. Безгранично свободные, бодрые, счастливые, они не боялись ни бога, ни дьявола, ни смерти, а говорили и делали все, что хотели. А вино, чистое, как янтарь, подернутое золотыми искрами, вероятно, было нестерпимо сладко и пахуче, потому что каждый пивший блаженно улыбался и хотел еще пить. На улыбку человека вино отвечало тоже улыбкой и, когда его пиля, радостно искрилось, точно знало, какую дьявольскую прелесть таит оно в своей сладости!

Описав все прелести дьявола, красоту зла и пленительную грацию отвратительного женского тела, настоятель проклял дьявола и ушел в свою келью.

Удивительно ли, что наутро в монастыре не осталось и одного монаха? Все они бежали в город.

* * *

Дворянские беллетристы шестидесятых – семидесятых годов – Болеслав Маркевич, Авсеенко, Всеволод Крестовский и пр., – когда выводили благородного дворянина, то писали о нем так:

– Погоди ж ты! – процедил князь Троекуров, побледнев.

Если же речь шла о семинаристе-нигилисте, то писалось так:

– Погоди ж ты! – прошипел Крестовоздвиженский, позеленев.

Теперь, с других, конечно, позиций, повторяется совсем то же самое. Герои симпатичные бледнеют и цедят, несимпатичные – зеленеют и шипят. Я просто не могу понять, как после Льва Толстого можно так писать.

Когда новый переводчик берется за перевод классического художественного произведения, то первая его забота и главнейшая тревога, – как бы не оказаться в чем-нибудь похожим на кого-нибудь из предыдущих переводчиков. Какое-нибудь

выражение, какой-нибудь стих или двустишие, скажем даже, – целая строфа, переданы у его предшественника нельзя лучше и точнее. Все равно! Собственность священна! И переводчик дает свой собственный перевод этого места, сам сознавая, что он и хуже, и дальше от подлинника. Все достижения прежних переводчиков перечеркиваются, и каждый начинает все сначала.

Такое отношение к делу представляется мне в корне неправильным. Главная, всеоправдывающая и всепокрывающая цель – максимально точный и максимально художественный перевод подлинника. Если мы допускаем коллективное сотрудничество, так сказать, в пространстве, то почему не допускаем такого же коллективного сотрудничества и во времени, между всею цепью следующих один за другим переводчиков? Все хорошее, все удавшееся новый переводчик должен полною горстью брать из прежних переводов, – конечно, с одним условием: не перенося их механически в свой перевод, а органически перерабатывая в свой собственный стиль, точнее, – в стиль подлинника, как его воспринимает данный переводчик.

* * *

Совсем не страшны и очень мало вредят писателю самые ярые на него нападки в печати и самые уничтожающие критические статьи. Человеку самолюбиво кажется: вот, нет никого, кто бы не прочел обидной для него статьи, все только о ней говорят. А на деле, – кто и прочел, тот очень скоро забыл, а уж через месяц никто и не помнит. Только в очень редких случаях критический отзыв может быть губителен для писателя, – когда отзыв принадлежит очень авторитетному лицу, а сам писатель – неважный, не способный делом своим опровергнуть отзыв критика. Так было, например, с отзывом Добролюбова о магистерской диссертации Ореста Миллера «О нравственной стихии в поэзии». Всю литературную карьеру профессора Ореста Федоровича Миллера испортил этот суровый отзыв. Но столь же суровая статья Писарева о Щедрине – «Цветы невинного юмора» – нисколько Щедрину не повредила.

Но вот что страшно, вот что убийственно для писателя, вот от чего он никогда не сможет целиком оправиться. Это – меткая эпиграмма или слово, подцепляющее какую-нибудь характерную слабую сторону писателя. Никакие самые презрительные и ругательные статьи не повредили Леониду Андрееву так, как повредил добродушно-насмешливый отзыв Льва Толстого: «Он пугает, а мне не страшно». Иному читателю и стало бы страшно

при чтении Андреева, но он вспоминает Толстого и повторяет: «Он пугает, а мне не страшно!»

Убийственны были прозвища и словечки, которыми высмеивал того или другого писателя оголтелый Виктор Буренин, критик рептильной газеты «Новое время». Все презирали Буренина, но словечки его и прозвища часто неотрывными ярлыками навсегда прилеплялись к писателю. С его руки, например, пристали к Петру Дмитриевичу Боборыкину прозвание «Пьер Бобо» и слово «боборыкать». И читатель, берясь за новый роман Боборыкина, говорил, улыбаясь:

– Посмотрим, что тут набоборыкал наш Пьер Бобо!

Извольте-ка после этого захватить читателя!

Был беллетрист и корреспондент Василий Ив. Немирович-Данченко. Он вечно завирался в своих корреспонденциях самым фантастическим образом. Буренин прозвал его «Невмерович-Вральченко». И одно это прозвище с гораздо большим успехом подорвало доверие к его сообщениям, чем сделали бы это самые обстоятельные опровержения и изобличения.

Или из современности. Демьян Бедный писал про правоэсеровского публициста Питирима Сорокина:

Пити-пити-питирим!
Питирим, тирим, тирим!

И все воробьиное легкомыслие писателя налицо.

Трудное это и запутанное дело – писательство. Писатель должен не наблюдать жизнь, а жить в жизни, наблюдать ее не снаружи, а изнутри. Между тем обычная история жизни писателя: удалась ему вещь, обратил на себя внимание – и бросает прежнюю работу, и становится профессионалом» И вот – человек садится писать не тогда, когда ему что-то нужно сказать, а тогда, когда нужно платить за квартиру, шить жене пальто. И на глазах свежий росточек таланта желтеет, сохнет. И нет уж писателя. Начинающий писатель, если он уважает свой талант и дорожит им, не должен «жить» литературой. Чем угодно добывай средства к жизни, только не писательством. Придет время, и то же писательство самотеком начнет кормить тебя произведениями, написанными раньше.

Не говорю уж об этом. Но писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из жизни. Обычная теперь для него среда – товарищи писатели, заседания секций, ресторанчики, клуб писателей. Варка в собственном соку. А потом куда-нибудь выезжает, ходит с блокнотом и «набирает материал».

Нужно в жизни жить, работать в ней – инженером, врачом,

педагогом, рабочим, колхозником.

– Хорошо, а когда же тогда писать?

– Когда? После работы. В дни отдыха. В месяц отпуска.

– Много ли тогда напишешь?

– И очень хорошо, что немного. Все, что тогда напишется, будет полноценно, нужно. А так, по совести сказать, взять почти у любого писателя полное собрание его сочинений, – много ли потеряет литература, если выбросить из него три четверти написанного?

* * *

Когда в загорающемся сиянии славы, средь гула восторженных приветствий в литературу вступает молодой талант, мне всегда бывает за него страшно и больно. Как будто на большой высоте человек пошел по слабо натянутому канату. Знает ли он, какой это опасный путь, знает ли, что из многих десятков людей до конца дойдут, хорошо, если двое, трое? Знает ли, что с каждым шагом все больше должна расти его строгость к себе, что не нужно прислушиваться к доносящимся снизу восторженным крикам и рукоплесканиям? Можно все это знать, и все-таки голова начинает сладко кружиться, исчезает подобранность тела, ноги бойко и развязно ступают по канату, – и летит человек вниз, и расшибается насмерть. И никто даже не ахнет, не подбежит к его трупу. Равнодушно поглядят и скажут:

– Еще одна несбывшаяся надежда!

Я замечал на себе в начале литературной работы: каждый успех снижал требовательность к себе, с каждым успехом начинало писаться «легче». И как в это время бывал полезен жестокий щелчок – отказ редакции, суровая встреча критики!.. Просите, товарищи, судьбу, чтоб она была к вам построже и позлее.

* * *

И вот это еще. «Небес избранник», «божественный посланник». И теперь сплошь да рядом писатель серьезнейшим образом начинает считать себя таковым. Писательский труд – это какой-то совсем особенный труд, высоко возносящий писателя над серою толпою. После этого труда всякий другой, обычный труд – оскорбителен, презренен. Стал человек в этой области инвалидом, – выдохся, писать больше не о чем. Но сам по себе

крепчайший мужчина, хоть барки грузить. Но он предпочитает бездеятельно ждать исчезнувшего «вдохновения» и быть вечным клиентом Литературного фонда.

Знавал я одного поэта, бывшего рабочего. Хороший был поэт, отмеченный и читателем и критикой. Как-то он сказал мне:

– Подыхаю от нищеты! Что можно заработать стихами!

Я вспомнил, что он был прежде электромонтером. А я как раз только что въехал в новую квартиру, нужно было проводить в ней электричество. Я ему предложил:

– Вот! Не возьметесь ли?

Он оглядел меня так, как если бы я изящному денди предложил в заплатанном и затасканном костюме войти для танцев в бальный зал. Ответил неохотно:

– Я это дело давно уже бросил. И отошел.

* * *

«Автор одного произведения»… Их много у нас. Грибоедов. Сухово-Кобылин – трилогия. Ершов, автор «Конька-Горбунка». Д. Гирс – неоконченный роман «Старая и новая Россия» в «Отечественных записках» за 1868 год. А прожил (и писал) до 1886 года. А. Л. Боровиковский – в семидесятых годах лучший после Некрасова поэт «Отечественных записок», очень несправедливо забытый.

Хороши были у него не только гражданские стихи, но и стихи другого рода. Помню, например, из одного стихотворения такое четверостишие:

Пусть говорят – ночная полутень
Введет в обман и призраки покажет.
Нет, только ночь тебе всю правду скажет,
А дню не верь: обманывает день!

Молодежь того времени списывала его стихи и учила наизусть. А он даже не издал их отдельною книжкою. Стал впоследствии крупным деятелем по судебному ведомству и автором специальных трудов по гражданскому праву. Из более новых: Найденов – «Дети Ванюшина», Тимковский – «Сильные и слабые». Благо было тем из них (Сухово-Кобылин, Боровиковский), которые сказали, что могли сказать, и спокойно замолчали. Для большинства же это единственное их произведение стало отравою, заразившею кровь на всю жизнь. Нечего больше сказать, нет потребности сказать, все сказано, – а

пишут, пишут, пишут… Какое оскорбление и литературы и самих себя! Неужели только в литературе жизнь? Неужели и без нее нельзя жить полно, глубоко и плодотворно?

* * *

Странная судьба скульптора Ф. Ф. Каменского. Всякий знает, хотя бы по снимкам, его группу «Первый шаг», находящуюся в ленинградском Эрмитаже: карапуз в рубашонке неуверенно делает шаг, а молодая мать, опустившись на одно колено, поддерживает ребенка. Каменский, родившийся в 1838 году, блестяще начал свою карьеру, еще учеником Академии получил несколько серебряных и золотых медалей, был отправлен за границу, получил звание академика. Художник А. А. Куренной рассказывал мне со слов брата Каменского: скульптор жил в Риме, женился, родился ребенок. Знаменитый «Первый шаг» его – с жены и ребенка. Жена умерла. Каменский бросил скульптуру, в начале семидесятых годов уехал в Америку и там стал жить физическим трудом. Брат посетил его в Америке. Он имел свою ферму и на ней работал. Однажды, – кажется, на чикагскую всемирную выставку – Каменский представил статую. Получил премию. И опять умолк.

* * *

Лет тридцать назад меня в упор спросила одна курсистка, – прямолинейная девица, признававшая только химию и политическую экономию:

– Скажите, как вы сами думаете: если бы никогда не появилось в печати ничего, что вы написали, – было бы что-нибудь в нашей жизни хоть немножко иначе, чем теперь?

Я ответил:

– Видите, начинается дождь. Он очень нужен для посевов, для травы; может быть, он определит весь урожай нынешнего года. Вот перед нами упала капля дождя. И вы спрашиваете: изменилось ли бы что в урожае, если бы этой капли совсем не было? Ничего бы не изменилось, Но весь дождь состоит из таких капель. Если бы их не было, урожай бы погиб.

* * *

Наглость писательского невежества, доходящая до великолепия.

Все знают про бумеранг, метательное оружие австралийских дикарей. Благодаря приданной ему кривизне бумеранг, в случае промаха, делает полукруг и падает к ногам бросившего. Всякий легко может сделать такой бумеранг и наблюдать его оригинальный полет.

Луи Буссенар, автор очень популярных приключенческих экзотических романов. В романе «Сын парижанина» он описывает похождения двух молодых людей в Австралии. Им удается убежать от захвативших их бандитов. Невдалеке от дороги, по которой они бегут, стоит незнакомец с странным, искривленным орудием в руке. Когда они пробегали мимо, незнакомец неожиданно метнул в них тем, что у него было в руках.

Странное оружие низко неслось над землею. Тотор услышал его жужжание и отскочил, но орудие, точно сознательно, преследовало его, продолжая вертеться. И вот оно ударило его по ногам. Парижанин упал на землю.

В ту же минуту ужасная пластинка сделала поворот и с дьявольскою точностью ударила по ногам Мериноса.

– Проклятие! У меня кости разбиты! – падая, проворчал янки.

Исполнив свое адское дело, орудие упало на землю. Но что за чудо! Оно тотчас же снова ожило, поднялось под углом в сорок пять градусов, описало правильную параболу и опустилось к ногам своего владельца.

И, с ученым видом знающего человека, Буссенар прибавляет:

«Бумеранг не походит ни на одно из орудий охоты или войны, противоречит всем законам! баллистики, кажется чем-то невероятным и тем не менее существует. Брошенный ловко, он разбивает задние ноги исполинского кенгуру, опрокидывает громадного казуара. Причины его странных движений объясняются различно, но никто не знает истины».

Впоследствии подобное же описание бумеранга я прочел, – увы! – У Жюля Верна в «Детях капитана Гранта».

* * *

Молитва писателя: «Господи, избави меня от корректора, а с наборщиком я сам управлюсь».

(Сколько ни борись с корректором, но в конце концов он вместо «конъектура» поставит «конъюнктура», вместо «интерполяция» – «интерпелляция», вместо «цезура» – «цензура».)

* * *

Через каждые пять лет перечитывай «Фауста» Гёте. Если ты каждый раз не будешь поражен, сколько тебе открывается нового, и не будешь недоумевать, как же раньше ты этого не замечал, – то ты остановился в своем развитии.

* * *

Меня спросила одна девушка:

– Какая идея в «Фаусте»?

Я ответил:

– Вы помните, Фауст соглашается отдать свою душу Мефистофелю, если сможет сказать мгновению: «Стой, ты прекрасно!» И это мгновение настает тогда, когда Фауст видит, что затеянное им дело обещает принести огромную пользу человечеству. Характер этого счастья таков, что Мефистофель теряет власть над Фаустом, и Фауст спасается.

Когда девушка ушла, мне стало стыдно. Как будто о простиравшемся перед нами огромном лесе меня спросили, какой в нем смысл, а я показал на молодой дубок и сказал, что из него можно согнуть великолепную дугу для телеги. Какова «идея» «Фауста»! Да разве дело в той дуге, которую можно согнуть из молодого дубка! Лес этот дает столько и материальной пользы, и красоты, и здоровья, что просто смешно говорить о дуге. В «Фаусте» на каждой странице такая неисчерпаемая глубина мысли, переживаний, настроений, жизненного опыта, знаний, что основная «идея» тут имеет значение третьестепенное.

Мне после этого было приятно прочесть в разговорах Гете, записанных Эккерманом, следующее его признание:

«Ко мне приходят и спрашивают, какую идею я хотел воплотить в моем «Фаусте». Точно я сам знаю это и могу выразить!.. Было бы удивительно, если б я вздумал всю столь богатую, пеструю и в высшей степени многообразную жизнь, какая изображена в «Фаусте», нанизать на тонкую нить одной всепроникающей идеи… Я собирал в душе впечатления, и притом впечатления чувственные, полные жизни, приятные, пестрые, многообразные, какие мне давало возбужденное воображение. Затем, как поэту, мне оставалось только художественно округлять и развивать эти образы и впечатления и, при помощи живого изображения проявлять их, дабы и другие, читая и слушая изображенное, получали те же самые впечатления… Я склоняюсь к мнению, что чем несоизмеримее и для ума недостижимее

данное поэтическое произведение, тем оно лучше».

* * *

Мы разучивали с тремя ребятами басню «Слон и Моська». Все они уже знали ее наизусть.

По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ —
Известно, что Слоны в диковинку у нас —
Так за Слоном толпы зевак ходили.

И вдруг один с недоумением спросил:

– Почему они зевали?

Я спросил других – почему? Никто не смог объяснить. Но одинаково всем троим картина представлялась совершенно определенною; толпы людей ходят за слоном и – зевают. Как могло случиться, что дети так долго не спрашивали, в чем тут дело?

Дети очень часто не спрашивают о значении непонятных слов. Это – не отсутствие любознательности, это – своеобразное стремление справиться собственными силами с непонятным словом и создать картину в меру собственного разумения[1]. Один старый писатель вспоминал, что в детстве стихотворение Лермонтова «Ангел» он читал так:

По небу по луночи ангел летел.

И ему представлялось, что «луночь» – это что-то вроде озаренного лунным светом небосклона.

* * *

До чего глуп становится самый умный человек, когда больно задето его самолюбие!

* * *

Если хочешь ценить человека, то заранее нужно скинуть со счета его самолюбив и тщеславие. Иначе, может быть, не

останется для тебя ни героя, ни подвижника, ни мудреца.

* * *

Одно дно из великолепных исключении – Фридрих Энгельс. Для него ничего не приходится скидывать со счетов. Ведь только подумать! Огромный ум, совершенно самостоятельно пришедший к основным положениям марксистской теории. Он мог быть первым номером – и добровольно сделал себя вторым номером при Марксе. «То, что сделал Маркс, – писал он, – я не мог бы выполнить. Он стоял выше, смотрел шире, видел больше и быстрее, чем все мы, остальные. Маркс был гений, а мы в лучшем случае – таланты». И вот свой большой талант он скромно отдает на службу гению. В прямой ущерб собственной научной работе старается побольше заработать денег, чтобы дать возможность Марксу спокойно и без забот работать над «Капиталом». Все время ставит себя в тень, и справедливость должна применять большие усилия, чтобы вывести его из этой тени и поставить вплотную рядом с Марксом.

* * *

Удивительна и совершенно фантастична психология тщеславия, неумение человека давать себе должную оценку. В 1840 году прах Наполеона торжественно был перевезен с острова Св. Елены во Францию и похоронен в Доме инвалидов, Лермонтов по этому поводу написал свое известное стихотворение «Последнее новоселье». Напомню его в отрывках.

Меж тем как Франция, среди рукоплесканий
И криков радостных, встречает хладный прах
Погибшего давно среди немых страданий
В изгнаньи мрачном и цепях;
Меж тем как мир услужливой хвалою
Венчает позднего раскаянья порыв,
И вздорная толпа, довольная собою,
Гордится, прошлое забыв, —
Негодованию и чувству дав свободу, —
Поняв тщеславие сих праздничных забот,
Мне хочется сказать великому народу:
Ты жалкий и пустой народ!
…….

А вы что делали, скажите, в это время,
Когда в полях чужих он гордо погибал?
Вы потрясали власть, избранную, как бремя,
Точили в темноте кинжал!
Среди последних битв, отчаянных усилий,
В испуге не поняв позора своего,
Как женщина, ему вы изменили,
И, как рабы, вы предали его!
И если дух вождя примчится на свиданье
С гробницей новою, где прах его лежит,
Какое в нем негодование
При этом виде закипит!
Как будет он жалеть, печалию томимый,
О знойном острове под небом дальних стран,
Где сторожил его, как он, непобедимый,
Как он, великий, океан!

На эту же тему, несколько раньше Лермонтова, написал стихотворение А. С. Хомяков.

Небо ясно, тихо море,
Воду ласково журчат;
В безграничном их просторе
Мчится весело фрегат…
Дни текут, на ризах ночи
Звезды южные зажглись;
Мореходцев жадны очи
В даль заветную впились…
Здесь он! Здесь его могила
В диких вырыта скалах:
Глыба тяжкая покрыла
Полководца хладный прах.
Здесь страдал он в ссылке душной,
Молньей внутренней сожжен,
Местью страха малодушной,
Низкой злостью истомлен.
Вырывайте ж бренно тело
И чрез бурный океан
Пусть фрегат ваш мчится смело
С новой данью южных стран и т. д.

Много еще. Все так же серо и тягуче. Что должен был испытать Хомяков, после вялых своих виршей прочитав стальные

стихи Лермонтова? Отгадайте. Вот что:

«Между нами буди сказано, – писал он поэту Языкову, – Лермонтов сделал неловкость: он написал на смерть Наполеона стихи, и стихи слабые; а еще хуже то, что он в них слабее моего сказал то, что было сказано мною… Другому бы я этого не сказал, потому что похоже на хвастовство, но ты примешь мои слова, как они есть, за беспристрастное замечание». (Сочинения А. С. Хомякова, т. VIII, IV, 1900, стр. 104).

* * *

Идешь по улице:

– Господи, какая уродина!

Дряблые щеки, тусклые глаза, – набелена, нарумянена, ярко-оранжевые губы, наведенные брови… Для того, чтобы так накраситься, ведь ей нужно смотреться в зеркало. Как же она сама не замечает, как ее вид ужасен и смешон, как он ее унижает?!

* * *

Молодой Гете приучил себя смотреть с крыши страсбургского собора вниз, чтобы отучить себя от головокружения при взгляде в бездну. Он не выносил резких звуков, поэтому ходил к казарме во время вечерней зори и слушал грохот барабанов, от которого чуть не лопалась барабанная перепонка. Испытывал невольный суеверный страх при ночном посещении кладбища, – и нарочно проводил там часы. Многие военные, чтоб приучить себя «не кланяться пулям», без нужды подставляют себя под обстрел.

Это все просто и легко исполнимо. Но вот как отучить себя от страданий самолюбия? Какие для этого способы? Нет ничего смешнее и противнее кипящего самолюбием человека. Как себя от этого избавить? Удовлетворение самолюбия ведет к все большим требованиям. От поругания самолюбия оно тоже только растет. Самолюбив и нетерпим признанный мастер. Еще, может быть, самолюбивее и нетерпимее мастер непризнанный, собственным преклонением перед собою замещающий отсутствие преклонения других. Когда жизнь одергивает зарвавшегося молодого человека, – это для него очень полезно. Но как вот самому одергивать себя?

* * *

Мне кажется, я в общем не страдаю избытком самолюбия и еще больше убеждаюсь в этом, когда наблюдаю товарищей писателей.

И вот – интересное наблюдение. К столетней годовщине смерти Пушкина издательство «Советский писатель» выпустило мою двухтомную работу: «Спутники Пушкина». Издательство пересылало мне все отзывы читателей об этой книге. Раз получаю пачку таких отзывов. Один более лестный, чем другой. Казалось бы, можно бы получить полное удовлетворение. Но в пачке этих писем было также очень злое и едкое письмо одной старой учительницы. Она писала, что автор копается в грязном белье Пушкина и его спутников, что он принижает Пушкина до собственного своего пошлого уровня, что книгу его не следовало бы допускать в библиотеки и т. п.

И что же? Потонул этот отзыв в десятках хвалебных отзывов, компенсировался ли, по крайней мере, ими? Нет, Весь день на душе было определенно неприятное ощущение, со стороны совершенно непонятное. Ложка керосина а бочке душистого вина.

Вот. Какие способы бороться с подобными переживаниями?

* * *

Самая плохая из всех моих вещей, это – повести «К жизни» (1908 г.). В ней как будто более или менее верно отражены настроения и переживания молодежи после разгрома революции 1905 года. Это мне еще недавно подтвердил один писатель, бывший в то время молодым а читавший с товарищами повесть эту в ссылке. Не могу также принять упрека за то, что повесть написана взъерошенным, претенциозным языком, что я в ней поддался тогдашней «моде». Решительно все другое мое, относящееся и к тому времени, написано обычным моим языком. Здесь же «поддался моде» не я, а герой моей повести, которая ведется от первого лица, в виде дневника. Мне пришлось даже ломать себя, чтобы заставить говорить моего героя языком, для того времени характерным.

Дело не в этом. Дело в гораздо более существенном. В долгих исканиях смысла жизни я в то время пришел, наконец, к твердым, самостоятельным, не книжным выводам, давшим мне глубокое удовлетворение, давшим собственное, питающее меня до сих пор знание, – в чем жизнь и в чем ее «смысл»? Я захотел все свои нахождения вложить в повесть, дать в ней ответы на все мучившие меня вопросы. Но во-первых, ответы эти для того времени и для выведенного мною лица были совершенно не

характерны. Это были именно только *мои* ответы, для *себя*. Главное же, – в художественном произведении никаких таких ответов дать невозможно. Это просто – вне функции художественного произведения. Какие «дают ответы», какие «указывают выходы» даже величайшие художественные творения мира, – «Илиада», «Божественная комедия», «Гамлет», «Фауст»? Я попытался свои искания и нахождения втиснуть в художественные образы, – и только исковеркал их, получилась вещь неуклюжая, надуманная, неубедительная. Мне просто противно ее перечитывать, и если я не отказался раз навсегда от ее переиздания, то только потому, что повесть, как я уж говорил, в известной степени отражает настроения тогдашней молодежи и составляет неотделимое звено в цепи моих повестей, отражающих душевную жизнь «хорошей» русской интеллигенции, – «Без дороги», «Поветрие», «На повороте», «К жизни», «В тупике», «Сестры».

Я увидел, что у меня ничего не вышло, и тогда все свои искания и нахождения изложил в другой форме, – в форме критического исследования. Во Льве Толстом и Достоевском, в Гомере, эллинских трагиках и Ницше я нашел неоценимый материал для построения моих выводов. Получилась книга «Живая жизнь». Часть I. О Достоевском и Льве Толстом. Часть II. Аполлон и Дионис (о Ницше). Это, по-моему, самая лучшая из написанных мною книг. Она мне наиболее дорога. Я перечитываю ее с радостью и гордостью.

* * *

Искренность – дело трудное и очень тонкое, она требует мудрости и большого душевного такта. Маленький уклон в одну сторону – и будет фальшь; в другую, – и будет цинизм. Способность к подлинной искренности, правдивой и целомудренной, – великий и очень редкий дар.

Поэт Н. М. Минский в начале девяностых годов выпустил книгу «При свете совести». Редко можно встретить более фальшивую книгу. Чувствуешь на каждой строке, как автор говорит себе: «Я ничего не побоюсь, я буду так правдив с собою, как никто еще никогда не был». И раздувает, размазывает еле заметные ощущеньица, смещает перспективу, во имя искренности лжет на себя и на других. Утверждает, например, что когда у вас умрет даже самый близкий, самый любимый человек, то, при самой искренней скорби, в глубине души у вас живет приятная мысль, что вот я, я теперь буду центром общего внимания, я,

шатаясь от скорби, буду первый идти за гробом, и все с сочувствием будут смотреть на меня…

Вот в какого рода «искренность» можно впасть, если не относиться к ней строго и требовательно. А уклонишься в другую сторону, – и там ждет тебя циническая «искренность» Федора Карамазова или Василия Розанова.

* * *

Глаза – зеркало души. Какой вздор! Глаза – обманчивая маска, глаза – ширмы, скрывающие душу. Зеркало души – губы. И хотите узнать душу человека, глядите на его губы. Чудесные, светлые глаза и хищные губы. Девически невинные глаза и развратные губы. Товарищески-радушные глаза и сановнически поджатые губы с брюзгливо опущенными вниз углами. Берегитесь глаз! Из-за глаз именно так часто и обманываются в людях. Губы не обманут.

* * *

Умное лицо получается у человека не оттого, что он умен, а только оттого, что он много думает. Я знаю несколько женщин: у них очень хорошие, вдумчивые, умные лица, а сами они – глупые; но они серьезно относятся к жизни, добросовестно вдумываются в нее. Знавал я одного критика. Редко можно было встретить такого тупого человека. Но он добросовестно ворочал воробьиными своими мозгами, – и лицо у него без всякого спора было умное. А вот у Декарта и Канта лица совершенно дурацкие. Видно, думалось им очень легко.

* * *

– О чем вы задумались?

Добросовестно ответить на вопрос можно только через значительное время. Когда человек «задумался», в нем работает подсознательное, результатов своей работы оно еще не вынесло в сознание. Внешний вид человека в это время: брови подняты, глаза выпячены и смотрят в пространство, ничего не фиксируя. Когда человек «думает», – вид другой: брови сдвинуты, взгляд определенный, фиксирует одну точку. Тут он сразу может ответить, о чем думает.

* * *

Воспоминание всегда прикрашивает дорогого нам человека. Вот в такой именно мере должно бы прикрашивать портрет.

* * *

Нет ничего отвратительнее и нет ничего прекраснее старческих лиц. И нет их правдивее. С молодого, упругого лица без следа исчезают черточки, которые проводятся по коже думами и настроениями человека. На старческом же лице жизнь души вырезывается всем видною, нестираемою печатью.

* * *

Совет лицемерам. – Ты прикидываешься на людях энтузиастом, отзывчивым человеком, добрым товарищем. Наедине и в семье ты не считаешь нужным притворяться, и лицо твое принимает обычное, присущее тебе выражение мелкого и злого эгоиста, думающего только о своих выгодах. И на лицо твое наносятся определенные черты, которые все труднее становится сгонять на людях. Лицемерь и наедине. Тогда маска твоя станет прочнее.

* * *

Когда у человека большое горе, прибавочное мелкое горе уже не действует на душу. И маленькая радость ничего не дает душе. Букет цветов или варенье к чаю осужденному на казнь. Но вот странно: когда большая радость у человека, – неудержимо хочется прибавить к ней побольше еще всяких маленьких радостей: цветов, вкусной еды, вина, прогулки.

* * *

Брезгливые люди в большинстве случаев очень нечистоплотны. Долго меня это удивляло, но потом я понял, что иначе и не может быть: кто боится грязи, всегда легче обрастает ею.

* * *

Чем серее и однообразнее жизнь, тем ярче и красивее сны. Сидевшие в тюрьме хорошо это знают.

* * *

В человеческой глупости есть свои незыблемые законы.

– Трамвай идет только до Арбатской площади!

Из десяти человек один, по крайней мере, обязательно спросит:

– А дальше не идет?

* * *

Есть какие-то свои законы и в психологии лжи. Когда начинающему писателю говоришь: «У вас чувствуется подражание такому-то», – он с неизменною закономерностью отвечает:

– Мне это и другие говорили. Но представьте себе: когда я писал свою вещь, я этого писателя еще не читал.

Один молодой человек, давший мне на прочтение повесть, и в манере и в плане до смешного представлявшую подражание «Мертвым душам», – тоже уверял, что он в то время еще не читал «Мертвых душ».

* * *

Гомер. Боги сидят, беседуют, попивая нектар; даже потеют при усиленной работе. Даже походка, как у людей. Боги, как мужчины, «широко шагают». Богини, как женщины, семенят ногами, «походкой подобные робким голубкам». До чего убога человеческая фантазия! Везде религии изображают бога или богов в виде людей, или животных, или их комбинации. Почему не сумели создать чего-то прекрасного, великого, одухотворенного, живого – и ничем не напоминающего живущие существа? Гениальнейший художник мог бы на этой задаче сойти с ума.

* * *

Мы ждем будущего, вспоминаем о прошедшем. Когда научимся ценить настоящее?

* * *

Самое трудное в науке счастья – научиться ощущать настоящее, как прошедшее.

* * *

Всякий двухлетний ребенок – гений, всякий пятнадцатилетний мальчик – негодяй.

* * *

Буриданов осел – что это такое? Ну, кто же не знает! Осел стоял между двумя охапками сена и никак не мог решить, в какую сторону ему повернуть голову. Так и умер с голоду. Хорошо. Ну, а кто такой сам Буридан? Владелец осла? Автор басни об осле? Вот этого почти никто не знает. Буридан был французский философ-схоластик четырнадцатого века, противник учения о свободе воли; пример с ослом он приводил в опровержение учения о свободе воли: при полной свободе воли осел умер бы с голоду между двумя одинаковыми охапками сена, потому что у него абсолютно не было бы никакого мотива предпочесть одну охапку другой. Пример и сам по себе мало удачный, и нигде в сочинениях Буридана его не находят, сомневаются даже, принадлежит ли он ему. А прославился Буридан ослом своим, можно сказать, в веках, и прославился весьма прочно. Поистине, въехал в храм бессмертия на осле, как Реомюр и Цельсий на термометрах, Рентген на своих лучах, Ампер, Вольта и Фарадей – на свойствах электричества.

* * *

Совет красавицам. – Никогда не снимайтесь в модном платье. Через десять лет вы в нем будете казаться смешною.

* * *

– Зачем вы губы себе мажете? Ведь вы же понимаете, что это – вроде вывески: «Мужчины, я вам хочу нравиться, подходите!»

– Конечно, понимаю. Для того и делаю. Я очень застенчива, не умею держаться так, как хотела бы. А тут они прямо по губам видят, что можно быть смелее.

* * *

Меня трогает, когда люди благодарны мне за сделанное добро. Я благодарен, когда мне сделали хорошее. Но меня глубоко возмущает, когда сделавший мне добро ждет от меня благодарности. Тогда все его добро обесценивается, мне хочется заплатить ему с процентами за сделанное и отвернуться.

* * *

В Крыму, в Коктебеле, был у меня один знакомый болгарин, крепкий хозяйственный мужичок. За какую-то провинность, совершенную больше по глупости, он был сослан на север. Я за него хлопотал, удалось устроить, что его освободили на два года раньше срока. Он пришел меня благодарить. Выложил на стол пуд винограда, несколько фунтов овечьего сыра брынзы, четверть виноградного вина. Как я ни отказывался, пришлось принять: я чувствовал, что отказом жестоко его обижу.

Осенью мы уезжали с своей дачи. Билет на поезд уже был взят. Жене сильно нездоровилось, она попросила дочь этого болгарина Анку прийти к нам в день отъезда, чтобы помочь уложиться. Утром в этот день прибежала плачущая Анка и сообщила, что прийти не может: отец велел ей идти с ним в лес собирать желуди для свиней. Что она ни говорила, в какое тяжелое положение она поставит нас своим неприходом, он ничего не хотел слушать. «Иди со мной собирать желуди».

Он расценил оказанную ему мною услугу, честно отблагодарил за нее по тарифу и все свои отношения со мною счел покончеными. С этого дня я ненавижу благодарных людей.

* * *

Студентом-медиком я работал в нашей клинической лаборатории (Юрьевского университета) над вопросом о влиянии минеральной воды Вильдунген на обмен веществ у больных и

здоровых. Одним я давал натуральную воду, другим искусственную. И в статейке с отчетом об этой работе, напечатанной в одном медицинском журнале, я писал, что не следует делать никакого различия между натуральной и искусственной минеральной водой, раз химический состав их один и тот же; в натуральной воде никаких не может быть особенных, неуловимых, «мистических» свойств, отсутствующих в воде искусственной. Поэтому я без разбора давал исследуемым лицам воду как натуральную, так и искусственную. Через десять – пятнадцать лет выяснялось, что главная сила натуральной воды в ее *радиоактивности*, которой и следа нет в воде искусственной.

С тех пор я стал осторожнее и не спешу называть «мистикой» все непонятное и необъяснимое при настоящем уровне наших знаний.

* * *

Часто рассказывают изумительные и не подлежащие никакому сомнению случаи, когда, напр., мать в Москве с ужасом сообщает, что вот сейчас с ее сыном, находящимся в Харькове, случилось огромное несчастье. И потом оказывается, – как раз в этот день и час ее сына раздавил трамвай. Случайность? Мистика? Не знаю. Но когда я по радио слушаю концерт, даваемый в Париже, я говорю себе: а разве не может быть волн, которые тоже издалека воспринимаются особенно настроенными нервами?

* * *

Мне говорил один очень хороший и наблюдательный хирург:

– Не знаю, как это объяснить научно. Но убежден я глубоко и непоколебимо. Может быть *совершенно одинаковый* (наружно) уход за больным, а результаты разные, в зависимости от того, исполняет ли ухаживающий только свой долг – хотя бы *с идеальною добросовестностью*, – или он жадно, страстно хочет спасти больного. Смело говорю, что в последнем случае возможность выздоровления повышается по крайней мере процентов на 25. Я высказал это свое наблюдение проф. Х. Он ответил изумленно: «Я это тоже заметил, но боялся говорить». И даже больше скажу. Там, конечно, где организм не отравлен безнадежно, где он борется, где часто, как, например, при тифе или при крупозном воспалении легких, все зависит от того,

выдержит ли организм еще сутки, – там, я говорю, страстное желание жены или матери буквально не дает больному умереть, поддерживает его жизненные силы.

Иногда серьезно начинаешь верить в «прану» йогов и в то, что люди избыток этой жизненной силы – праны страстным своим желанием способны переливать в других людей. На империалистической войне у меня в госпитале было две сестры с огромнейшим запасом этой жизненной силы и подлинной любви к каждому больному, горячего желания его спасти. И что же? На их дежурстве почти ни один больной не умирал! Помню один случай. У больного была газовая гангрена ноги – делались подкожные вливания, сделана была экзартикуляция тазобедренного сустава. Я подошел: умирает. Говорю: «Через десять минут умрет. Покройте его». Уж достаточно был в этом опытен. Но – при нем была одна из упомянутых сестер. И он начал теплеть и ожил. Многое еще нам неизвестно в организме человека.

* * *

Мне рассказывал моряк, бывший в эскадре адмирала Рождественского во время японской войны. Они стояли у Мадагаскара. Периодически водолазам приходилось спуститься в море, чтобы очищать кили кораблей от нараставших ракушек. Очень при этом докучали акулы. Придумали такое средство. Дали в руки водолазу железный стержень, соединенный с электрическими проводами. Когда акула собралась напасть на него и для этого опрокинулась на спину, он нажал кнопку стержня и сунул его в пасть акулы. Акулу моментально согнуло в дугу и отбросило в сторону.

– И вот с той поры, – рассказывал моряк, – н-и о-д-н-а акула не подплыла к водолазу! Рассказала та акула другим, что ли? Он же. В александреттской гавани затонул пассажирский пароход с людьми. Через полчаса вся бухта, обычно совершенно свободная от акул, кишела акулами, – как будто они собрались сюда со всего Средиземного моря. Каким радио все они были оповещены?

* * *

Вот что удивительно: значение света для растений мы понимаем очень хорошо; горшки с растениями мы ставим не в углы комнат, а на окна. И этим часто совершенно загораживаем

свет от самих себя. Пройдитесь по улицам Москвы, поглядите на окна: по крайней мере половина их доверху заставлена растениями! Бедные дети, от которых родители загораживают и так не столь уже обильные лучи солнца! Давно как-то мне рекомендовали обратиться за врачебной помощью к одному модному московскому врачу. Жил он где-то около Девичьего поля. Пошел. Большой зал с блестяще навощенным полом, с богатою, стильною мебелью. Три окна сплошь заставлены цветами, сверху спускаются тюлевые занавесы, а перед окнами громоздятся еще густолистые фикусы и филодендроны. На дворе был солнечный весенний день, но в комнате было сумрачно. Открылась дверь в кабинет доктора, – там тоже все окна были заставлены цветами. Я повернулся и ушел: от этого доктора мне нечего было ждать.

* * *

Четвертушкою бумаги осторожно стараюсь направить трепыхающуюся бабочку с верхнего оконного стекла вниз, где окно открыто. Она мечется, бросается в стороны.

– Глупая, тебе же добра хочу!

Но она совершенно не в состоянии этого усвоить. Не потому только, что не в состоянии понять моих слов, а потому, главное, что по существу не в силах воспринять того, что я ей хочу сказать. С какой стати я, чужое ей существо, стану ей делать добро? Весь мир для нее – только среда, добыча или опасность.

Когда вдумаешься в это, то тут – своеобразный источник утешения и самого светлого оптимизма. Отчаяние берет, сколько среди людей жестокости, подлости, вероломства, себялюбия… А – почему им не быть? Что это за ребячья привычка видеть в человеке «образ божий» и в его плохих поступках – поругание этого образа? Человек – не «образ божий», а потомок дикого, хищного зверья. И дивиться нужно не тому, что в человечестве так много этого дикого и хищного, а тому – сколько в нем все-таки самопожертвования, героизма, человеколюбия. Нечего приходить в отчаяние, что у волка, ястреба, человека так много волчьего, ястребиного и… человечьего. Это вполне естественно. А вот от этого можно испытывать большую радость: сколько уж в человечестве высокой моральной красоты! И сколько ее еще будет, когда явятся более благоприятные условия!

* * *

А рядом с этим – великолепнейшее доверие к жизни у детеныша. Он убежден, что весь мир существует для того, чтобы о нем заботиться. Хочет есть, – скулит и ждет, что вот к нему протянется сосец матери; холодно, – и ждет, что кто-то его прикроет и согреет. И в мысль не приходит, что «кто-то» может оказаться существом, которое пихнет его ногою или схватит зубами.

* * *

Это была сумасшедшая ночь, – ночь под летнее солнцестояние. Царь эльфов Оберон поссорился со своею женою Титанией. Он велел озорнику эльфу Пуку отыскать цветок со странным именем «Любовь в праздности», подстерег в лесу Титанию, когда она заснула, и выжал ей на глаза сок цветка. Сок этот обладает таким свойством: человек, проснувшись, слепо влюбляется в первую женщину, которую увидит, а женщина – в первого увиденного мужичину.

Чьих век смеженных сладким сновиденьем,
Коснется сок, добытый из него,
Тот влюбится, проснувшись, до безумья
В то первое живое существо,
Которое глазам его предстанет.

Проснувшись, царица Титания увидела первым мастерового-ткача Основу. К тому же Пук из озорства превратил его голову в ослиную. Титания безумно влюбилась в него.

Много чепухи натворил с этим цветком Пук в лесу. Юноша влюбился в девушку, к которой до того был равнодушен. Другая девушка воспылала страстью к юноше, от которого отвертывалась. Титания ласкала своего нового возлюбленного. От него пахло водкой, луком и потом, на голове шевелились ослиные уши, но она страстно ласкала ослиную морду, целовала ее и находила, что нет в мире никого краше ее возлюбленного.

Мой слух влюблен в твой чудный голосок,
Как влюблены мои глаза я твой образ;
Ты силою слоях прекрасных качеств
Влечешь меня к тому, чтобы признаться
И клятву дать, что я тебя люблю!..
Дай розами убрать твою головку,
Столь мягкую, столь гладкую.

Позволь поцеловать твои большие уши…

Когда Титания заснула в его объятиях, Оберон выжал ей на глаза сок другого цветка, уничтожающий чары первого. Титания в ужасе сказала ему:

Мой Оберон, какие сновиденья
Имела я! Сейчас казалось мне,
Что будто бы я влюблена в осла!

Оберон насмешливо ответил ей:

Вот здесь лежит твой милый!

И Титания увидела, что лежит в объятиях грязного, неуклюжего мужчины с ослиного головою. И воскликнула с отвращением:

Как все это
Могло случиться? О, как нестерпимо
Смотреть глазам на эту образину![2]

Вечно летает По лесам жизни озорной эльф Пук, вечно выжимает людям в глаза сок волшебного цветка. И люди перестают видеть трезвыми глазами, на отлогом лбу с ослиными ушами видят печать мудрости и гения, в фальшивой женской улыбке усматривают глубокую задушевность, в ординарнейшей наружности – красоту небывалую. Это все творит человеческая кровь, горячо забурлившая под чарами волшебного цветка.

Приходит миг. Пук выжимает в глаза сок другого цветка, и глаза людей становятся видящими, и они недоумевают, как же они не могли раньше рассмотреть этого ослиного лба, этой вульгарности душевной, этой фальшивой улыбки, этой пустопорожней дамской болтовни.

Как все это
Могло случиться? О, как нестерпимо
Смотреть глазам на эту образину!

Пук, смеясь, летит дальше, оставляя за собою ненужную трагедию и разбитые жизни.

* * *

У меня был товарищ, студент. На втором курсе он вдруг решил жениться. Мы все изумились. Он перебивался грошевыми уроками, она тоже еще училась, не выдавалась ни умом, ни одаренностью, ни характером, ни красотою, – ничем, что объясняло бы это сумасшедшее решение. Мы пытались отговорить товарища. Он приходил в ярость, заявляя, что прервет знакомство со всяким, кто будет пытаться мешать его женитьбе.

И женился.

Через месяц он пришел к нам и в отчаянии сказал:

– Как же вы мне не помешали сделать эту глупость?

– Да вспомни, что ты нам отвечал, когда мы тебя отговаривали.

– Все равно! Должны были меня связать, должны ли отправить в сумасшедший дом. Ведь я был в состоянии невменяемости.

И с ужасом смотрел перед собою глазами проспавшегося пьяного.

Пук с озорным смехом улетел прочь.

* * *

«Любовь»… Очень часто говорят: «Любовь», когда есть только влюбленность. Влюбленность слепа. Она головокружительным ядом отравляет кровь человека. И только когда она иссякает, – только тогда человек может решить, что это было, – влюбленность и любовь, или влюбленность без любви? А иссякает она в громадном большинстве случаев с достигнутым обладанием. Вот тогда-то только и можно бы серьезно заговаривать о любви. Строить раньше этого планы о долголетней совместной жизни – чистейшее безумие.

* * *

Брак по любви… О, это, конечно, очень хорошая вещь! К сожалению, такие браки очень редки. Чаще всего под ними разумеются браки по влюбленности. Да ведь такие браки – самые ужасные из всех! Ужаснее даже, чем холодные браки по взаимному расчету. Там люди, по крайней мере, видят, что берут.

* * *

Скажи мне, как ты относишься к женщине, я тебе скажу, кто ты.

* * *

Женщина мала в малых делах и велика в великих. Никогда мужчина не бывает так мелочен в мелочах и так самозабвенен в подвиге.

* * *

У женщин свои, во многом совсем особенные свойства ума. Мне кажется, они стесняются или еще не научились проявлять свой ум в свойственных ему формах. Есть чудесно умные женщины. И есть «умные» женщины, от которых хочется бежать, – столько у них логики и мертвого груза знаний.

* * *

Декабрист М. С. Лунин – замечательный писатель и изумительный человек, – отмечая влияние сибирского климата и ссылки на его душевное состояние, писал сестре между прочим: «Излагая мысли, я нахожу доводы к подтверждению истины; но слово, убеждающее без доказательств, не начертывается уже пером моим».

«Слово, убеждающее без доказательств…» В этом сила оратора. В этом – и тайна успешного спора с женщиной. Никакой логикой нельзя ее убедить, если говоришь с раздражением. И нужно очень мало логики, если слово сказано мягко и с лаской. И это почти со всякой женщиной, как она ни будь умна. Эмоциональная сторона в ней неодолима. Рассказывал Леонид Андреев: однажды поспорил он о чем-то с женой; приводил самые неопровержимые доводы, ничего на нее не действует; он разъяренно спросил:

– Ну, как же тебя еще убеждать?

Она жалобно ответила:

– Поцеловать меня.

* * *

Женщины плохо пишут романы, повести и стихи. Но удивительно пишут дневники и письма.

* * *

Разрушение идолов

Стоят изображения из камня или дерева. И люди поклоняются им, считают их высшими существами, к которым непозволительно подходить даже с самой легкой критикой, которых следует благоговейно принимать такими, какие они есть.

Приходит время, и человек убеждается, что перед ним – просто каменные или деревянные куклы, что они не только подлежат критике, но что критике даже делать нечего с ними, настолько они ничтожны и ненужны; единственное, что с ними можно сделать, это отправить их на свалку или в лучшем случае в музей.

В жизни людей, в их быту, в их нравах и воззрениях, – часто даже у людей самого передового образа мыслей, – еще несчетное количество этих божков, совершенно без всяких оснований вызывающих к себе самое благоговейное отношение, не допускающее никакой критики.

Когда думаешь о том, какими правами обладает сейчас у нас женщина, берет гордость и радость за нее. То, что еще на моей памяти было явлением самым обычным, то, что и теперь вполне обычно в большинстве стран, представляется нам теперь диким, почти невероятным пережитком.

Шел я раз, студентом, по улице. Пьяный мастеровой бил свою жену, державшую на руках грудного ребенка. Он сильным размахом бил ее кулаком в лицо, голова моталась, из носу текла кровь. Я и другие прохожие кинулись к нему закричали, пригрозили отправить в полицию. Он насмешливо вытянулся и в виде «чести» приставил ладонь к виску.

– Вин-новат-с!.. Тысячу раз прошу извинении! – Потом обернулся к жене. – Пойдем-ка домой! Там я с тобою поговорю!

Она взглянула на ребенка.

– Господи, ты-то за что страдаешь!

Зарыдала и покорно пошла следом за мужем. Там, дома, – она знала, и мы все знали, – там никто не вправе за нее

заступиться, если не дошло дело до угрожающих жизни истязаний. И если бы она ушла от мужа, полиция водворила бы ее к нему обратно. Здесь же, что мы видели на улице, было не что иное, как только «нарушение общественной тишины и спокойствия».

Другой раз было. Шел по улице каракалпак с женою. Он впереди, прямой, величественно подняв голову, а сзади, по его следам – никак не рядом! – его понурая жена с тупым, рабьим лицом; на одной руке она держала ребенка, другою придерживала тяжелый узел, бывший у нее на спине. А он шагал впереди с пустыми руками.

Польский писатель Вацлав Серошевский когда-то рассказывал мне. В Японии в железнодорожном вагоне он встал и уступил место стоявшей женщине-японке. Это вызвало дружный смех и недоумение всего вагона, как у нас бы засмеялись, если бы дряхлая старуха уступила место крепкому молодому парню. И помню, в Маньчжурии во время русско-японской войны. Стояли мы обычно в китайских деревнях, жили в фанзах бок о бок с их хозяевами и имели возможность наблюдать их жизнь. И вот – обед. Сидят за столом одни только мужчины, все, начиная с дряхлого старика с редкой седою бородкой и кончая двухлетним карапузом со смешной косичкой назади. А кругом стоят и смотрят женщины – и бабушки, и жены, и сестры, и дочери обедающих. Мужчины кончат обедать, встанут, и тогда за стол садятся женщины. Сидеть за одним столом вместе с мужчинами им не полагается.

В 1910 году проездом в Египет я остановился в Константинополе. Был какой-то большой праздник, по улице двигались веселые толпы, смеявшиеся, певшие, дурачившиеся. Но что-то в них было необычное, непривычное глазу, что-то не то, что на подобных же празднествах в Париже, например, или в Италии. И вдруг я понял: толпа была исключительно мужская. Не видно было женских лиц, не слышно было девичьего смеха, не было веселых ухаживаний, не было парочек, светившихся влюбленностью. Изредка только траурными тенями торопливо проходили черные фигуры женщин с опущенною на лицо густою черною вуалью-покрывалом; под нею белел выступавший кончик носа и таинственно мерцали черные глаза. Женщинам доступа на праздник не было. Им было только – скука гарема и тайный разврат через подкупленных евнухов и служанок.

Мужчина и девушка полюбили друг друга, поженились. Но, оказалось, ни по характерам, ни по воззрениям, ни по привычкам они совершенно не подходят друг к другу, Была не любовь, а влюбленность, при которой они совершенно не сумели разглядеть

друг друга. Однако они поженились, повенчаны и разойтись уже не могут, прикреплены друг к другу – навсегда! Развестись можно было единственно в том случае, если одна сторона имела возможность доказать, что другая сторона совершила «прелюбодеяние». Да еще как доказать требовалось! Свидетели должны были удостоверить, что собственными глазами наблюдали самый факт прелюбодеяния. И с омерзительнейшими подробностями все это выкладывалось на суде. Наконец, развод, скажем, разрешался. Но «виновная сторона» лишалась навсегда права вступать в новый брак, Женщина, как бы она с новым мужем ни любили друг друга, могла иметь от него только «незаконных» детей и была вынуждена выносить косые взгляды и пренебрежение добродетельных законных супруг. К каким ненужным трагедиям, к каким вопиющим нелепостям вел такой порядок вещей, – перечитайте об этом в «Анне Карениной» или в «Живом трупе» Льва Толстого.

Как все это далеко от нас, – либо в пространстве, либо во времени! Совсем во всем равноправные с мужчинами, ни в какой области не уступающие им, длинною вереницею проходят перед нами стахановки полей и фабрик, ответственнейшие работницы, профессора, инженеры, летчицы, парашютистки, а не вечные только учительницы да артистки с писательницами. Смотришь на физкультурном параде: рядами проходят полунагие девушки с блестящими глазами, – осетинки, узбечки, таджички, – стройные, мускулистые, овеянные воздухом и солнцем, не стыдящиеся своей наготы, как будто пришли к нам с какого-то древнеэллинского празднества. С ними рядом их товарищи – парни. И подумать только: матери их – и те еще продавались девочками старикам, закрывали паранджою цветущие лица, становились домашней скотиной мужа и сами считали за великий стыд открыть перед посторонним мужчиною даже лицо!

Поженились парень и девушка. Но оказались совершенно друг для друга не подходящими. Да и легко ли неопытным молодым глазам, притом отуманенным влюбленностью, с первого раза без ошибки выбрать себе на всю жизнь спутника и товарища? А у нас теперь: стала совместная жизнь невмоготу, – и разошлись, без ненужных трагедий.

Зорко охранены законом со всех сторон права женщин. Все это так. Однако до полного равноправия очень еще далеко женщине и у нас. Иногда это лежит как будто в самом существе дела. Разошлись муж и жена, у них ребенок. Муж добросовестно платит алименты. Но разве это хоть в отделенной мере уравновешивает труд, который кладет в ребенка мать? Часто ребенок в сильной степени препятствует личной жизни матери.

Полюбила она другого, тот полюбил ее. Но узнает о ребенке – и ретируется. Много еще нужно времени, чтобы в общее сознание вошел и для настоящего еще времени поистине революционный в своей области «Чужой ребенок» Шкваркина.

Часто, однако, затруднение только по внешней видимости лежит в самом существе дела, в действительности оно устранимо, хотя и не всегда легко. Лет одиннадцать-двенадцать назад я напечатал рассказ «Исанка». В нем обрисовывалось совершенно безвыходное положение нашей учащейся девушки в области любви. Условия вузовской экономики и быта не допускали возможности семьи и ребенка; аборт неприемлем; оставались для большинства уродливые, неполные взаимоотношения, растлевающие дух, несущие с собою тяжелые нервные заболевания. Рассказ вызвал длинный ряд диспутов и целый поток читательских писем ко мне. Упорно, настойчиво мне предъявляли все один и тот же вопрос:

– Где же выход? Укажите выход!

Как будто это входит в компетенцию художника. И я, конечно, отвечал: «Не знаю!»

Но вот прошел десяток лет, и мы имеем возможность наблюдать совершенно конкретное разрешение вопроса, казалось бы, неразрешимого. У нас существует целый ряд «студенческих городков», – крупных общежитий на несколько тысяч студентов и студенток. При «городке» – своя библиотека, читальня, комнаты для занятий, столовая, буфет, всегда кипяток, прачечная, баня, почта, амбулатория, родильное отделение, ясли, детский сад. На последнем месяце беременности студентку переводят в специальную комнату для собирающихся родить. После родов помещают в комнату для родильниц; при них – их младенцы. Когда мать оправится от родов, она возвращается в общежитие, а ребенок остается с другими ребятами на попечении нянь. Матери в нужные часы приходят в комнату для кормящих и кормят грудью ребенка. Когда хочет, мать может взять своего ребенка, пойти с ним погулять. Подрастающие ребята – в детском саду. На каникулы мать может взять ребенка к себе. Если же у нее практические работы или просто ей надо отдохнуть, она уезжает, а ребенок остается на попечении «городка».

Конечно, такие «городки» – еще только отдельные островки нового быта; притом в большинстве случаев очень далекие от совершенства. Но островки эти все расширяются и обещают в будущем существенное улучшение положения женщины.

Не все, однако, можно возлагать только на перемену внешних условий. В корне должен также перестраиваться и самый характер отношений между мужчиной и женщиной. И вот тут-то

мы наталкиваемся на множество идолов, о которых мы говорили, принимаемых за непререкаемые божества, и свергнуть их можно только при длительном самовоспитании мужчины и при столь же длительной борьбе женщины.

Семья. Муж, жена, дети. Заработок не настолько велик, чтобы иметь домработницу. Муж ходит на работу. Жена готовит обед, стирает белье, пеленает грудного ребенка, обшивает семью, штопает чулки и носки. Ну, что ж! Разделение труда. На это ничего не возразишь, хотя и тут иногда кажется, что разделение труда не совсем равномерное.

Но вот положение несколько иное: оба – и муж и жена – работают. И все-таки: муж, вернувшись домой, садится за газету, а жена становится за примус, ночью стирает в кухне белье или штопает носки мужу. Часто бывает так даже тогда, когда работает только жена.

– Э, где ему! Ничего он не умеет, все у него пригорит, белье от его стирки станет еще грязнее!

Так говорят часто даже сами женщины. А мужчины, так те с величайшей охотой сознаются:

– Где уж мне! Я ничего этого не умею.

Не умеет свертеть котлет, не умеет носки себе заштопать, не умеет перепеленать ребенка, не умеет, – и теперь еще это бывает! – даже постелить за собою постель и вынести ночную посуду. Удивительное дело! Вообще говоря, человек чрезвычайно самолюбив и не так уже склонен сознаваться в своих недостатках. Но тут мужчина с великой готовностью сознается в полнейшей своей бездарности. Напрасна, товарищи, такая скромная оценка своих способностей! Не боги горшки обжигают. Первородившая мать тоже очень неумело пеленает своего ребенка. Общепризнано, что повара во всяком случае не ниже кухарок, а портные – портних. Дело тут не в бездарности мужской. Дело – отчасти в бессознательном стремлении удержать свои освященные веками привилегии, главным же образом – в особого род самолюбии: как он будет заниматься такими «бабскими» делами!

На берегу Черного моря – комната в дачке. Нанимает ее женщина-врач с двумя ребятами. Утро. Девочка десяти лет убирает постели, подметает пол. Мальчик двенадцати лет сидит, посвистывая, и ударяет себя хлыстиком по голени.

– Почему ваш мальчик не помогает девочке убирать комнату?

И мать, – сама мать, интеллигентная! – отвечает:

– Э, это не мужское дело!

Медленно, но эволюция в этой области совершается. Еще пятнадцать лет назад невозможно было встретить на улице

мужчину с грудным ребенком на руках. Теперь это стало самым обычным явлением. Носят на руках, катают в колясочке и этого не стыдятся. Не так уже стыдятся приготовить обед на керосинке. Но уже оторвавшуюся пуговицу сами себе пришивают только холостяки. Или – штопанье носков. Оно стало уже как бы символом женского порабощения, против которого женщины протестуют самым энергичным образом:

– Только предупреждаю, носков тебе штопать не буду!

Мне рассказывали про одного врача еще дореволюционного времени. Он с детства приучил двух своих мальчиков каждое утро осматривать свои носки и заштопывать дырочку при первом ее появлении. Впоследствии один сын стал инженером, другой – полковником, но эту привычку они сохранили на всю жизнь и удивлялись, почему этого не делают все, а предпочитают разнашивать носки до дыр величиною с ладонь.

Когда полным цветом распустится коммунизм, тогда большинство всех этих нудных бытовых мелочей отпадет само собою. Но пока этого еще нет, пока бытовые мелочи тяжелым грузом наваливаются на жизнь людей, нужно все идолы разрушать, нужно мужчине перестать думать, что самими какими-то предвечными законами он освобожден от ряда скучных работ, наваленных им на женщину, – стать с нею рядом, плечом к плечу, и так идти через жизнь.

* * *

Статья эта была напечатана в № 45 «Известий» за 1940 г. и вызвала очень широкий отклик в читательских массах. Письма лились потоком. Звонили по телефону. На дом ко мне приходили группы студентов и студенток человек по десять – пятнадцать. Устраивались публичные диспуты. Все это показывает, что затронут вопрос, для очень многих близкий и существенный.

Уже в день появления статья мне позвонил по телефону студент и заявил, что возмущен моею статьею до глубины души. Я ответил:

– Я больше бы удивился, если бы подобное мне сказала женщина.

– Две женщины так же возмущены, как я: моя жена и ее подруга. Они говорят, что сочли бы для себя величайшим позором, если бы я сам штопал себе носки.

Человек двумя-тремя фразами целиком поднес себя, как на ладошке: очевидное дело, – «великий человек», и возле него лишенные собственного содержания две поклонницы, не могущие

допустить, чтобы их кумир унизился до такой мелочи, как штопанье носков.

Некоторые письма мужчин полны самой неистовой злобы. Вот выдержка из одного письма:

«Бывшему писателю В. Вересаеву. С чувством стыда и брезгливости прочитал я ваш фельетон под крикливым названием «Разрушение идолов». Куда девалась ваша замечательная чуткость, когда всякое движение в недрах общества вы умели своевременно подметить и в художественных образах показать? Что в эти драматические дни, переживаемые человечеством, вы принесли в мир? Повесть о незаштопанных штанах и носках? Пошленькие и неумные разглагольствования о неравенстве полов?.. Я предоставляю вам старчески похихикать над «обиженным мужчиной» или моей отсталостью в женском вопросе. Факт остается фактом: умер дорогой и любимый писатель В. Вересаев. На земле доживает свой век его двойник, уже в состоянии полного умственного и нравственного распада, нудный и смешной старик»

Чтение таких писем доставляет большое удовольствие: видишь по этому кипению злобы, что попал в нужную точку.

На диспуте в авиационном институте один студент прислал такую записку: «Ведь не призывают же женщин в армию. Много специальностей есть, где могут работать только мужчины. И неужели мужчину нельзя освободить поэтому от штопанья носков, мытья пеленок и прочих мелочей?»

Однако большинство и мужских писем приветствует появление статьи. Студент Н. пишет: «С большим интересом читали мы – группа юношей и девушек – вашу статью. Спорили, волновались, еще раз перечитывали. Я видел, что некоторые мои друзья, делая вид, что разделяют основные высказывания автора, тем не менее ушли с тяжелым чувством, раздраженные, точно статья обнажила их собственные болячки. Прощаясь, один из них насмешливо заметил: «Итак, отныне я штопарь, и на посещение театра в ближайшие месяцы не располагаю временем». Меня это нисколько не удивило. Недовольство, я знаю, вызвано тем, что им жаль расстаться с многими мужскими привилегиями. Они еще цепко будут держаться за свое неприкосновенное положение в семье… Совсем недавно я был у знакомых. Он – бухгалтер, она – инженер. Личная жизнь этой семьи всегда мне казалась безоблачной. Когда я пришел, садились обедать. Она подавала к столу, мы разговаривали. Вдруг муж сердитым, повелительным голосом крикнул: «Соня! Опять нет соли на столе! Неужели каждый раз тебе надо об этом напоминать? Подай соль!» Сам он сидел в пяти шагах от шкафа и мог сам взять соль. Не

удержавшись, я заметил: «Почему вы кричите из-за такого пустяка я почему сами не возьмете соль?» Она немного покраснела за него, а он стал неубедительно доказывать ее обязанности».

Читатель с Северного Кавказа пишет: «Уважаемый дедушка Вересаев. Благодарю вас за вашу статью. Я не «идол». Я и жена – оба работаем, делаем все вместе. И дети наши будут такими же (у нас их двое – сын и дочь). Я много раз говорил соседним «идолам», как надо жить, но, кроме насмешек, ничего не получал».

Многочисленные женские письма дают огромный материал для характеристики положения женщин. Что особенно угнетает в этих письмах, это – их однообразие, говорящее о чрезвычайной распространенности отмечаемого явления.

Читательница из Свердловска рисует обычную картину, как, воротившись с работы, она берется за приготовление обеда, мытье посуды и т. д., а муж садится за газету: «Мужья с презрением и стыдом относятся к нашей работе, говоря: «Это – бабье дело». Прочитав вашу статью, мой муж в восторге от нее. Он всецело приветствует все в ней написанное и даже обещал мне, что теперь сам будет себе штопать носки. Отсюда мне уже будет облегчение. А вот обед готовить отказывается: лучше, говорит, голодным буду сидеть, но варить не буду. Ваша статья повлияла на многих мужчин. Я уже с некоторыми делилась впечатлениями, всем она нравится».

Молодой горьковский колхозник-комсомолец пишет; «Да, у нас на женщину падает вся тяжесть домашних работ. Приведу один пример из нашей сельской местности. Сейчас идут горячие полевые работы. Женщина встает рано утром, чтобы подоить корову, погнать ее в поле, а затем накормить остальных животных и птиц. После этого ей еще нужно приготовить пищу на весь день. И вот женщина возится с трех-четырех часов утра. А мужчина встает в семь часов, покурит, да и велит жене подавать завтрак. Скажу откровенно, я сам стеснялся даже принести воды, хотя видел, что необходимо помочь своей матери. Сейчас, прочитав вашу статью, я без всякого стеснения буду помогать матери во всех домашних делах».

Председатель одного из райсоветов Осоавиахима Тульской области пишет: «Ваша статья заставила меня, откровенно говоря, пересмотреть мои отношения к своей жене и изменить их. Если до этого я приходил с работы, то, как правило, обед готовила жена, несмотря иной раз и на то, что она шибко занята ребятами. Ну, а теперь совершенно иное дело, больше я таких фактов не повторяю и в таких случаях готовлю обед сам, сам мою и убираю посуду и даже делаю другие домашние дела, которых до этого не

делал. Теперь я повял, как мы, мужчины, иногда благодаря своим старым капиталистическим пережиткам не делаем женщину вполне равноправной».

К сожалению, нередко сами женщины оказывают в этом отношении моральную поддержку мужчинам. Тов. Ер. пишет: «Мне понадобилось выстирать рубашку. Ну, взял я таз, воды, мыла и учинил стирку во дворе. И что же? Женщины домохозяйки, – одна из соседней двери, другая из окна, третья тут же во дворе – с величайшим изумлением сначала, как говорится, воззрились на меня, Опомнясь от изумления, начинают с коварными улыбочками спрашивать меня: почему это я «сам» стираю? И ведь не меня они осуждают своими улыбочками, а чувствую, что осуждение их относится к моей жене, что допустила, чтобы муж «сам» стирал рубашки».

Иногда получается перегиб в противоположную сторону, и уже женщина старается перебросить все домашние заботы на плечи мужчины. Тов. М. Б. из Ленинграда пишет: «Я знаю одну семью, где муж, видя, что жена устает, старался помогать ей во всех домашних делах. Соседи по коммунальной квартире окружили его насмешками, и, как ни странно, особенно усердствовали женщины.

– Шляпа… Тряпка… – говорили они.

Прошло четыре года, и сама жена стала смотреть на своего мужа, как на скучного, мелочного человека, погрязшего в домашних делах».

На очень существенную сторону вопроса указывает читательница из Коми. Она пишет: «Я живу одиночкой, на свой заработок, и наблюдаю жизнь мужчин-одиночек на такую же и бóльшую зарплату. В то время как я живу на своем обслуживании, они нуждаются в чьем-то уходе, заботе. Мне зарплаты хватает и на лучшее питание и на все стороны жизни, включая курортное лечение, им же – только на текущие ежемесячные расходы, а на одежду уже надо приработать сверх зарплаты. Выходит, что женщина – более самостоятельное существо, чем мужчина».

Это правильно. Благодаря своей неумелости в домашних работах мужчина часто оказывается в самом беспомощном положении. Правильно пишет московская читательница: «Кто виноват в том, что наши молодые люди мужья, отцы не умеют сами себя обслуживать? Часто вина определенно падает на школу и семью. Почему нас всех, и мальчиков и девочек, не учили чинить носки, ставить заплатки, пришивать пуговицы? Тогда ребенок с детства мог бы себя обслуживать сам, он привык бы к этому так, как мы привыкаем каждый день чистить себе зубы».

Уже с детства мальчики у нас впитывают презрение к

«женским» работам, они сочли бы для себя великим позором, если бы их кто-нибудь увидел стирающими белье или пришивающими заплатку, хотя нисколько не стыдились бы, например, колоть дрова. Вот в этом вся суть вопроса. Дело совершенно не в том, – как высказывались некоторые мои оппоненты на диспуте, – кому колоть дрова и кому штопать носки, – как вообще распределять работу между мужчиной и женщиной? Кто лучше – мужчина или женщина? Суть в том, что не должно быть каких-то особых «женских» работ, которые стыдно исполнять мужчине, суть в тех предрассудках, к которым мы не смеем отнестись критически. Один муж с опаской говорил своей жене: «Что сказали бы соседи, если бы увидели, что твой муж моет полы!» И во всех нас очень еще крепко сидят эти предрассудки. Нужно с корнем вырвать их и научиться видеть в женщине по-настоящему равноправного нашего товарища.

Интересна воспитательная роль, которую в этом отношении играет Красная Армия. Мною получен целый ряд писем от красноармейцев и младших командиров, в которых они пишут, что в армии у нас вопросы эти давно разрешены. «Здесь, – пишет один из них, – нет ни жен, ни сестер, ни матерей, которые бы ему зачинили гимнастерку, пришили пуговицу, выстирали обмундирование или носовой платок. Здесь приходится все делать самому. В Красной Армии мужчина привыкает к этому. Он учится делать все те «женские» работы, которых до прихода в Красную Армию никогда не делал и относился к ним презрительно и брезгливо».

Из Мурманской области пишет один военнослужащий: «Хочу рассказать, как помогла мне Ваша статья «Разрушение идолов». Во время боев с финской белогвардейщиной, вследствие отдаленности от железнодорожного транспорта, нашему подразделению не было возможности своевременно получать стираное белье. Выход из положения одна: чтобы не допускать заражения вшивостью бойцов, нужно было находу организовать стирку белья, хотя и стоял сильный мороз. По этому вопросу было проведено летучее собрание. Когда я с командиром подразделения задали вопрос, кто может стирать белье, поднял руку только один боец. Многие товарищи ответили, что они никогда еще не стирали, а часть из них заявила, что это «бабское» дело, а не мужчинское, поэтому они не должны стирать белье. К сожалению, в нашем подразделении женщин не было. Я начал разъяснять товарищам, что они в этом неправы, это является отрыжкой проклятого прошлого, подчеркивающей неравенство женщин. Для этой цели использовал Вашу статью. Все бойцы внимательно выслушали текст ее, зашевелились между собой,

начали говорить:

– Правильно написано! «Святые горшки не лепят». Мы можем постирать белье не хуже, чем женщины.

После этого не один человек руку поднял, а все бойцы заявили свое согласие постирать белье».

* * *

У Ибсена муж говорит уходящей от него Норе:

– И ты можешь пренебречь своими священнейшими обязанностями по отношению к мужу, к детям!

Нора отвечает:

– У меня есть еще более священная обязанность, – по отношению к самой себе.

Нора права, говоря так и уходя от мужа. Но каждый случай тут приходится рассматривать в отдельности. О, если бы жена Пушкина пожертвовала своею маленькою личностью и всю ее отдала бы на уход и заботы о муже и этим сберегла бы его для нас на десятки лет! Как бы благодарно чтили мы ее память!

Но подобного самопожертвования мы обычно ждем только от женщин. Айседора Дункан. Гениальная танцовщица. Она положила начало полному преобразованию танцевального искусства. Неестественным телодвижениям балерин в торчащих парашютиком юбочках она противопоставила свободные, гармонические движения свободного, одетого в прозрачную тунику тела. Она не танцевала под музыку, а танцевала музыку, воплощала музыку в танец.

В книге «Моя жизнь» Айседора рассказывает о своей первой любви к одному венгерскому актеру, восхитившему ее своею красотою и игрою в роли Ромео. Он тоже был в восхищении от ее танцев. Сошлись. После нескольких недель бурной страсти Ромео заговорил о женитьбе. Она спросила, что они станут делать в Будапеште. Он, как деятель искусства и в подметки не годившийся ей, удивился.

– Как что? У тебя каждый вечер будет ложа, из нее ты будешь смотреть на мою игру, а затем ты научишься подавать мне реплики и помогать мне при разучивании роли.

Видя, что это ее совсем не прельщает, он разорвал с нею.

Через несколько лет Дункан сошлась с известным режиссером Гордоном Крэгом, – режиссером талантливым и оригинальным, но, конечно, и в сравнение не идущим с гениальною Айседорой.

Она рассказывает:

«После нескольких недель необузданных, страстных

любовных ласк завязалась отчаянная борьба между гением (!) Гордона Крэга и моим искусством.

– Почему ты не бросишь театра? – говорил он. – Почему ты желаешь появляться на сцене и размахивать вокруг себя руками? Почему тебе не оставаться дома и не чинить мне карандашей?»

* * *

Из дневника. 13 февраля 1923 г. – На жизнь свою оглядываюсь с благодарностью. Судьба была ко мне благосклонна, даже больше, – баловала меня. И самый ценный дар: она дала мне способность знать свое место и не переоценивать себя. Поэтому я почти избавлен был от самых тяжелых страданий, – зависти и обид самолюбия. Смотрю вперед: много ждет радостного. Кончу роман, возьмусь за работу над Пушкиным.

И вот вдруг заметил в себе: еще чего-то радостно жду. Чего именно?

Смерти!

Как странно. Смерти я никогда не боялся, страха смерти никогда не мог понять. Но недавно почувствовал: жду ее, как большого, поднимающего, ослепительно-яркого события. Вовсе не в смысле избавления от жизненной тяготы, – жизнь я люблю. Просто сама по себе смерть сияет в сумрачной дали будущего яркою точкою.

А недавно заметил в себе еще вот что. Человек умер неожиданно, сразу, – от разрыва сердца, или трамвай развил.

– Хорошо так умереть, – без мучений, без ожидания надвигающейся смерти!

Нет, по-моему, вовсе не хорошо. Смертные муки… Так ли они страшны? А может быть, при неожиданной смерти мы лишаемся переживания такого блаженства, перед которым ничтожны все смертные муки?

* * *

Из дневника. 10 декабря 1927 года. От врача. – Это было для меня совершенно неожиданно: сердце увеличено на три сантиметра, аорта поражена склерозом и расширена, общий артериосклероз. А я себя считал совсем здоровым! Хотя уже месяца три даже при обыкновенной ходьбе, не только при подъеме на лестницу, «чувствую» свое сердце. Но в общем очень

гордился, что никто не дает мне моих лет, – по отсутствию седых волос, физической крепости, общей живости. Помню, несколько лет назад, в Академии художественных наук, стояли мы, разговаривали, – покойный М. О. Гершензон, проф. И. И. Гливенко и я. Гершензон говорил, что под старость все больше у него развивается склонность писать афоризмами и очень короткими, замкнутыми главками; соглашался, с этим и Гливенко. Я сказал, что и у себя замечаю то же самое. Гливенко с некоторым даже высокомерием взглянул на меня:

– Ну, вам-то еще рано об этом говорить. Я вскипел.

– Позвольте узнать, сколько вам лет? Гливенко:

– Пятьдесят три. Гершензон:

– Пятьдесят пять.

– Ну, а мне пятьдесят семь!

И вот теперь, – что же? Значит, – первый звонок? Странно: нисколько это меня не огорчает и не пугает. Никогда я не мог понять страха смерти, хотя все больше любил жизнь. И вот только одно неприятно: при такой болезни можно умереть неожиданно. Этого мне не хочется. Мне бы хотелось медленно подойти к смерти, хотя бы с мучениями. Я с замиранием жду этого, как чего-то безмерно сладостного и великого. И уж совсем, конечно, не хочу умереть с распавшеюся и разлагающеюся психикой.

Но другое горько. Мне кажется, я только теперь научился думать, писать, жить, обращаться с людьми. Теперь-то бы только и развернуть жизнь и работу. А артерии в мозгу уже склерозируются.

* * *

Когда-то она была изящна, очень красива. И талантлива. Странно было сейчас смотреть на нее и думать, что так еще недавно, лет пять назад, с нею можно было разговаривать, как с равной. Старушечье, сморщенное лицо, тусклые глаза, – и спрашивает голосом, каким говорят очень боящиеся маленькие дети:

– Правда, скоро будет война?

– Кто на это может ответить!

– Меня очень беспокоит. Я недавно в газетах читала: мы выпустили противогазы, а они на это – никакого ответа.

Дочь ее, сдерживая улыбку, спрашивает:

– Кто, – они?

– Ну, там… Польша, Англия… Румыния.

– Какой же может быть ответ на противогазы? Все смеются, а

она горестно вздыхает:

– Пишут, что архиепископ кентерберийский за войну с нами, а папа римский против. У меня теперь вся надежда только на папу.

– Мама, почему на папу?

– Он же против войны.

– Мама на папу надеется, папа – на маму.

Опять общий смех, а она с недоумевающею полуулыбкой оглядывает смеющихся.

У нее тысяча разных старческих болезней, – эмфизема, миокардит, печень, колит. Дочь ухаживает за нею самоотверженно. Постарела, подурнела от забот и бессонных ночей. А старуха полна к ней злобой и желанием сделать ей больно. Спрашивает меня:

– Не можете ли вы меня устроить в больницу?

– В больницу? Зачем вам?

– Я тут очень всех стесняю, Вера только и думает, как бы от меня избавиться.

– Мама, да что ты такое говоришь!

– Да-а, да-а, я отлично вижу. Я чувствую, что я всем тут в тягость. Как вы думаете, не написать ли мне прямо Семашке? Он, говорят, человек добрый…

Все время точит дочь за то, что мало о ней заботится, что не любит матери. Если дочь выйдет на полчаса пройтись, старуха встречает ее упреками, что она ее «бросила». Ночью вдруг начинает звать спящую дочь:

– Вера! Вера!

– Что ты, мама?

– Я н-е с-п-л-ю!

Как, дескать, ты можешь спокойно спать, раз я не сплю. И часто говорит дочери:

– Когда я умру, совесть будет тебя терзать, что ты была со мною такая эгоистка. Я буду приходить к тебе во сне.

И дочь мне говорила:

– Как я все время чувствую себя глубочайшей преступницей и не могу убедить себя, что это у мамы только от старческого слабоумия! Я же ведь помню, какая она ко мне всегда была любящая и самоотверженная.

И все с трепетом ужаса повторяли:

– Не дай бог никому такой старости!

1926 г.

* * *

Из дневника. 11 февраля 1929 года. – Я все возвращаюсь мыслью к тому же самому. Уже умер Южин, умер Сологуб. Но профессор Мануйлов все еще живет, – живой, отказывающийся умереть труп, уже не узнающий своих близких. Мария Александровна, вдова моего дяди по матери, вот уже четыре года не встает, полураздавленная параличом. Высшие духовные отправления все умерли, недержание мочи и кала, все время из нее течет; вонь и мокреть. Дочь измучилась с нею до отчаяния.

Я хочу кричать, вопить: дайте мне право свободно распоряжаться собою! Примите мое завещание, исполните его. Если я окажусь негодным для жизни, если начнет разлагаться мое духовное существо, – вы, друзья, вы, кто любит меня, – докажите делом, что вы мне друзья и меня любите. Сделайте так, чтобы мне достойно уйти из жизни, если сам я буду лишен возможности сделать это!

* * *

– Бабка, пора тебе помирать!

– Батюшка, и рада бы, да ведь душу-то, – нешто ее выплюнешь?

* * *

Доктор Х. Умирала его мать, – он ее очень любил. Паралич, отек легких, глубокие пролежни, полная деградация умственных способностей. Дышащий труп.

Сестра милосердия:

– Пульс падает, – вспрыснуть камфару?

– Вспрысните морфий.

Сестра изумленно раскрыла глаза:

– Морфий?

Он властно и раздельно повторил:

– Вспрысните морфий!

Мать умерла.

У меня к нему – тайное восхищение, любовь и надежда. И раз я ему сказал:

– Самый для меня безмерный ужас, это жить, разбитым параличом. А у меня в роду и со стороны отца, и со стороны матери многие умерли от удара. Если меня разобьет паралич, то обещайте мне… Да?

Мы поглядели друг другу в глаза, он с молчаливым

обещанием опустил веки.

* * *

Тут самое главное: человеку должна быть дана возможность встретить смерть достойно.

* * *

Из дневника. – 18 июля 1929 года. Коктебель. – Последний автопортрет Рембрандта. В биографии его читаю описание портрета: «весь сгорбленный, седой, исхудалый, он кажется тенью прежнего атлета – Рембрандта». Ему в это время было 61 год. Давид Юм в автобиографии своей пишет: «я нахожу, что человек, умирающий шестидесяти пяти лет, только освобождается от нескольких лет дряхлости, – почему и трудно найти человека, который был бы привязан к жизни меньше меня».

Да, все это очень внушительно. Мне идет шестьдесят третий год. Но я еще не чувствую надвигающейся смерти, в душе бодро и крепко. Огромная охота работать. Играю в теннис. Чувствую себя в душе настолько молодым, что иногда мелькает мысль: да не ошибка ли, что у меня в паспорте год рождения показан 1867 и что вот эти дряхлые, сгорбленные, такие бесспорные старики – мои ровесники?

А все-таки все это уже очень близко и передо мною. Вчера ходил у себя по саду, подвязывал виноградные лозы к тычкам и думал: скоро, скоро уже придется жить «на пенсии», – на духовной пенсии, с «заслуженным правом не работать». И не мог себе представить: как же это я тогда буду жить? Греться на солнышке, вспоминать былое и вот так ходить по саду, дрожащими руками подвязывать лозы, И больше ничего. Какая нелепость!

* * *

И умереть на солнце и на воле
Душистой смертью скошенной травы.

(Мое)

* * *

Умирал один мой знакомый, человек глубоко верующий. Пошел его проведать. Иссох, оброс седою бородою. Жена все силы на него кладет. Лицо у нее бледное от бессонных ночей и хлопот. Что-то мне рассказывает, улыбаясь. Он враждебно посмотрел на нее и сказал:

– Вот! Я умираю, а она каким тоном говорит!

* * *

9 сент. 1940 г. – Давление крови у меня непрерывно растет, и все меры мало помогают. Сейчас – 210. Совершенно не могу физически работать, что меня всегда так живило. Мало и трудно могу работать умственно: сейчас же начинаются боли в голове. Что ж! Семьдесят три года. Пора и честь знать. Удивительно, как смерть меня мало пугает!

Последним желанием Анаксагора было, чтобы в день его кончины ежегодно устраивались детские игры. Я на это не имею права, потому что для детей ничего не сделал. Но я бы хотел, чтобы при моей смерти звучал детский смех, чтобы все кругом улыбались, чтобы не было похоронного настроения, люди не ходили бы с повешенными носами, не вздыхали бы скорбно. Пусть не стоит надо мною Шубертовский «Wilder Knochenmann» – «дикий костяной человек» с косою. Пусть реет благостный Thanatos, брат-близнец Сна.

notes

Примечания

1

Ну что ж! Ну да! Ходят за слоном и зевают. Вот какие бывают странные существа. (*Прим. В. Вересаева*.)

2

«Сон в летнюю ночь» Шекспира. (Прим. В. Вересаева.)